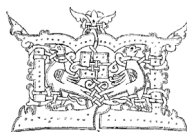


Сергей Шелковый



Апостольское число

*поэтические
переводы*

Харьков
«Майдан»
2015

УДК 82-1
ББК 84(4Рос)
Ш 43

Художественное оформление автора

*Использованы фрагменты «Мирославова Евангелия»
(Сербия, XII век)*

Шелковый С. К.

Ш 43 Апостольское число: Поэтические переводы /
С. К. Шелковый. — Харьков: Майдан, 2015. — 306 с.
ISBN 978-966-372-629-8.

В новую книгу поэтических переводов Сергея Шелкового «Апостольское число» вошли стихи из его предыдущего сборника «Двадцать» и новые переводы поэтов двенадцати славянских стран.

Первый раздел «Печаль упрятав в тень золотую...» обращён к творчеству тридцати трёх украинских поэтов XX столетия. Во второй раздел «И нежной присяге никто не изменит из нас...» включены переводы стихотворений тридцати авторов, пишущих на белорусском, болгарском, боснийском, македонском, польском, сербском, словацком, словенском, хорватском, черногорском и чешском языках.

УДК 82-1
ББК 84(4Рос)

«И СЛАВА, И ВОЛЯ...»

Книга поэтических переводов с двенадцати славянских языков на русский «Двана**д**есять», вышедшая в свет в 2014 году, получила, на мой взгляд, определённый читательский резонанс. Она и физически, взмахнув белобумажными крыльями, объявилась и была прочтена в Украине и России, в Болгарии и Сербии, в Польше, Молдове и Бельгии, и обрела виртуальное бытие на ряде активно работающих литературных ресурсов. Так её ярко-синяя обложка с золотистым фрагментом из Мирославова Евангелия XII века высветилась и на софийском сайте «Литературен свят», и на белградском писательском ресурсе «Заветине», и на нескольких поэтических сайтах Украины и РФ.

Пожалуй, этот довольно активный общественный отклик на выход моей книги лишь утвердил меня в желании продолжить свою переводческую и, полагаю, не будет преувеличением сказать, культурно-просветительскую работу. И позитивные отклики читателей на мой первый сборник поэтических переводов, вышедший вослед за двумя десятками книг моих оригинальных стихотворений, только подчеркнули для меня весомость и значительность того внутреннего морального обязательства, которое не могло не возникнуть во мне при непосредственном знакомстве с трагическим, но и вдохновляющим, феноменом «Расстрелянного возрождения» украинской поэзии двадцатых-тридцатых годов минувшего века.

Для книги «Дванадесять» я перевёл с украинского языка стихотворения уничтоженных людоведским режимом: Миколы Зерова, Павла Филиповича, Евгена Плужника, Михайля Семенко, Михайла Драй-Хмары, Владимира Свидзинского, Василя Симоненко. Перевёл так же строки прошедших ад ледяных лагерей ГУЛАГа поэтов Василя Мысыка и Василя Борового. Каждый из этих людей был талантлив и значителен по-своему, каждый обозначен своим собственным неповтори-

мым сиянием. И донести этот свет безвременно погашенных, но не сломленных, душ до новых читателей, до поколения нынешнего дня — я полагаю для себя святым и неизбежным, — и в конечном итоге почётным и радостным, — долгом.

Теперь, после ещё одного года истовой работы, нынешнее новое издание книги поэтических переводов, вдвое расширенное, я назвал в общем-то синонимично «Дванадцяти» — «Апостольское число». В этом издании к двадцати двум украинским поэтам из «Дванадцяти» я добавляю переводы стихов ещё более двадцати их соотечественников и современников — не просто единомышленников по литературному цеху, но собратьев по духу, по судьбе — судьбе подвижнической и драматической.

Здесь снова — выхваченные из жизни во цвете лет и безжалостно погубленные молохом химерной сверхидеи Олекса Блызько и Марко Вороной, Майк Йогансен и Яков Савченко, Олег Ольжич и Олена Телига, снова узники советских тюрем и лагерей Василь Боровой, Иван Вырган, Василь Мысык, Максим Рыльский, снова те, кто спасался от физической и духовной гибели в эмиграции, — Олександр Олесь, Евген Маланюк, Юрий Клён, Яр Славутич, Игорь Качуровский...

Каждый из названных здесь поэтов достоин благодарной памяти, достоин вдумчивого и проникновенного прочтения. О неповторимой судьбе каждого из них, по-Божьи, — по-хорошему и по-настоящему, — должна быть написана в свой час книга признания и признательности. Скажу здесь только несколько слов о некоторых из них.

Ну вот, в частности, неотступно возвращается ко мне во внутреннее поле зрения совершенно необычная, — одновременно и не от мира сего, и исполненная кипения молодых жизненных сил, — фигура Олексы Блызько. Он — поэт из плеяды «Расстрелянного возрождения» украинской литературы двадцатых-тридцатых годов прошлого века. Он — неутомимый романтик — и футурист, и символист, и классик одновременно, удивляющий неиссякаемой молодой энергией в своих поисках и обретениях разных поэтических пластинок.

Человек, потерявший слух и речь в тринадцатилетнем возрасте после заболевания скарлатиной, но сохранивший и умноживший в своих стихах неукротимую творческую

энергию, яркий и горячий порыв к новым сущностям и глубинам, к иным берегам и высотам.

Начиная с 1927 года, он успел выпустить несколько поэтических книг, горячо встреченных читателями и критикой. Его незаурядный и своеобразный дар поэта, искателя и духовного броца обещал мощное развитие уже в ближайшем будущем. Но, в возрасте 26 лет, Олекса Блызко был расстрелян вместе с другими двадцатью семью украинскими писателями по ложному обвинению бесноватой бесчеловечной властью тех, «кто был ничем, а стал всем».

И предстаёт этот навсегда юный поэт в долгом ряду невинно убиенных человеческих душ не первым и далеко не последним — в скором будущем после его расстрела сатанинским сталинизмом и его верными холоуями-опричниками будут погублены ещё тысячи и тысячи представителей украинской интеллигенции.

Проникновенно-правдиво писал об Олексе Блызко известный профессор-филолог Юрий Лавриненко: «В глухом юноше с большими круглыми глазами (он напоминал его современникам «степного ястреба», восседающего на холме с тесно сжатыми крыльями, — изолированном от звуков жизни — кипело духовное бетховенское море. Он и программное своё стихотворение назвал «Девятая симфония», открывая в нём, подобно Бетховену, человека Вселенной, универсальное сердце жизни. Поднявшись из недр украинской угнетённой провинции на эту вершину, он поднял на неё и освободительную идею своего народа — категорический императив свободы:

Но несчастней всех стран на земле — это родина, в рабстве, моя —
Пусть издохнет властитель её — никогда не склонюсь ему я.

Эти слова у Блызко произносит магометанин, возвращаясь из паломничества в Мекку. Физически глухой и немой Блызко не слышал ни слов судьи, читавшего приговор, ни выстрела в свой затылок. Но он был заранее готов, предрекая свой преждевременный конец и утверждая своё «последнее решение»:

Сердце бросив в штормы и штили,
Мы в лицо плюём сатане...»

Не могу не сказать отдельно о поэте Владимире Свидзинском, несколько десятков переводов из которого я помещаю в этой книге. Всего мной переведено, — не много, не мало, — сто его стихотворений, и отдельная книга переводов В. Свидзинского на русский язык, очень надеюсь, дождёт своего часа.

Владимир Свидзинский — редкостный поэт. Лучше сказать, уникальный. Творец, который воистину «засветился сам от себя». И эту светимость ощутит каждый человек, способный чувствовать поэзию, прочитав его стихи, казалось бы, навсегда потерянные после жестокого уничтожения автора, стихи не приходившие к читателям более шестидесяти долгих лет. Вот, к примеру, несколько его поэтических строк, полных негасимого света:

Усталый, спелый, на холмы склонившись,
День спал и спал.
Казалось, никогда
Не проплывут глубины голубые
Над нивами. Ленивый, беззаботный,
И я прилёт, отдавшись власти сна.
Проснулся — день мой полноцветный, где ты?
Мгла тонкая с востока протянулась.
Двумя крылами обнимая поле.
В могиле солнце. Дерево замолкло,
И, пойманные в чашечках тюльпанов
Холодной мглой, занемели пчёлы,
Что славили так звонко дня рождение.

Родился Владимир Свидзинский в семье священника, в священническом на протяжении ряда поколений роду на Подолье в 1885 году. Закончил духовную семинарию, в дальнейшем получил ещё два высших образования — в Киевском коммерческом институте и в Каменец-Подольском университете на историко-филологическом факультете. В 1916—1918 был на фронтах Первой мировой. При новом режиме работал архивариусом и вел научную работу, обучаясь в аспиранту-

ре, публикуя научные статьи, там же в Каменце-Подольском до 1925 года. Начиная с 1925 и вплоть до трагической гибели в 1941 году местом его обитания, средой и антисредой его творчества, его трудов ради скудного хлеба насущного на непрерывно сменяющихся редакторских должностях был столичный тогда Харьков.

При жизни Владимир Свидзинский издал три книги стихотворений: «Лирические стихи» (1922, Каменец-Подольский), «Вересень» (1927, Харьков), «Стихи» (1940, Львов). Эти сборники, разумеется, сразу же были объявлены официальной критикой совершенно не нужными пролетариату и чуждыми по всем признакам стране великих строек. Вневременная интонация лирики Свидзинского совершенно не вписывалась в барабанный треск почти всего, что выходило тогда из-под перьев и карандашей верноподданных литераторов

В сентябре 1941 года война приближалась к Харькову, и НКВД судорожно бросало в свои тюремные подвалы ещё не эвакуированных жителей города, в первую очередь, людей из среды украинской интеллигенции. Дочь Свидзинского Мирослава, которую он растил один после смерти жены от тифа в 1933 году, оттягивала, по личным романтическим причинам, отъезд из города, хотя её отцу уже был выдан эвакуационный талон в Актюбинск, обязующий его по сути выехать из Харькова.

Это затычка с выездом и стала поводом для ареста поэта. В конце сентября 1941 года Владимир Свидзинский был схвачен смертельной хваткой «багрового мордора» — то бишь, увезён «чёрным вороном» чекистов среди бела дня из съёмного домишки на улице Лютовской на окраинной Новосёлровке в погибельное, невозвратное никуда...

Вместе с другими обречёнными арестантами конвой погнал его 15 ноября на восток от Харькова. Скорее всего, ещё при выходе из города конвоирам от властных упырей НКВД поступила команда всех «ликвидировать». Знающие люди говорили мне, что это называлось в те дни эвакуацией «по первой категории». Официально тогда, объявили об угрозе окружения немцами.

В селе Непокрытое Волчанского района под Харьковом, неподалёку от известного исторического раскопа Салтов, четыре

сотни арестованных затолкали в заброшенный деревянный коровник, заперли двери и, облив стены бензином, подожгли с четырёх сторон. Всех запертых в строении людей заживо сожгли. То был день 18 октября 1941 года — страшный, но такой обыкновенный в своей подлости и жестокости, на фоне всего происходившего в последние десятилетия на Украине. Вся страна тогда была одной сплошной улицей Лютовской, или точнее, одной бесчеловечной Лютовской державой. И каждый без исключения из миллионов украинцев подлежал, рано или поздно, так или иначе, обработке «по первой категории».

Казалось, что большая часть неопубликованных стихотворений Свидзинского, подготовленных им в виде двух больших рукописей перед самой войной, навсегда утрачена. Однако небольшой круг людей, ясно видевших во Владимире Свидзинском поэта мирового масштаба (М. Свидзинская, А. Чернышов, Э. Соловей, О. Веретенченко, Я. Славутич), сумели сохранить и вернуть читателям его поэзию. В 2004 году, вслед за рядом локальных изданий 61-го, 75-го, 86-го годов, в Киеве, в издательстве «Критика», вышел большой двухтомник Владимира Свидзинского «Твори» («Произведения»), подготовленный Элеонорой Соловей. Это издание позволяет сегодня по достоинству оценить творческий масштаб поэта, неповторимую индивидуальность и светоносность его лирического мира.

Хотел бы ещё раз обратиться с благодарностью к памяти поэта Василя Борового, чья проницательно выбранная цитата из Свидзинского, вовремя попавшая в моё поле зрения, раскрыла мне глаза на феноменальное творчество этого своеобразного, утончённого и обладающего магическим обаянием поэта. А слова девятистооднолетнего Василя Борового о том, что именно поэзия спасала его в течение десяти лет в ледяной преисподней имперской каторги, навсегда запали мне в душу. Эти его слова — всем правдам правда. Приведу здесь как дань признательности двум моим братьям по духу несколько своих стихотворных строк, посвящённых и Владимиру Свидзинскому, и Василию Боровому:

«Стихи меня спасали в лагерях,
в пропащих чёрных шахтах Кайеркана. —

сказал почти столетний патриарх
с застенчивой улыбкой мальчугана —
Стихи меня сквозь сто смертей вели,
они и светлосой мамы мова
спасли мне душу на краю земли,
у злого океана Ледяного...»
Так говорил мне старый человек,
что, вопреки всем замыслам паучьим,

прошёл сквозь непролазный хищный век,
оставшись ясноглазым и певучим.
Он выжил сам. И дал мне знак о том,
кого сожгли чекисты в сорок первом, —
о подолянском Рильке золотом,
о тайном брате лотосам и перлам.
И я их, двух, с любовью в сердце взял
как суть той жизни, что меж злом и ложью,
сквозь весь свой мусор, срам, базар-вокзал.
способна в высший прорасти астрал
и высветить сполна подобье Божье...

Воистину, как произнесено было когда-то о Гёльдерлине, и о поэте Владимире Свидзинском можно сказать, что его «породили испытания и поцеловала речь». И в контексте длящейся ещё и сегодня истории беспощадных испытаний его родины, его Украины, этот данный свыше «поцелуй речи» предстаёт ныне особенно солнечным и жизнеутверждающим, особенно смыслоносным символом.

Хочу надеяться, что внутренняя сила поэзии Владимира Свидзинского, вобравшая в себя тысячелетний духовный опыт своего талантливого народа, станет ещё одним свидетельством той самой первородной духовности и гармоничности, той богоданной мягкости и нежности и одновременно той жертвенной стойкости, которые в историческом итоге одолеют всю злобу внешних враждебных насилий, все дурные хвори внутренних измен и предательств.

Что касается современных украинских поэтов, чьё творчество тоже представлено в переводах «Апостольского числа», то скажу кратко. Почти все они являются для меня не толь-

ко собеседниками на расстоянии, во взвешенных пространствах гармонических рядов. Очень важны для меня и личные, обогащённые непосредственным человеческим общением встречи с ними. Д. Павлычко и В. Затулывитер, П. Мовчан и Л. Голота, В. Моруга и В. Базилевский, П. Осадчук и И. Рымарук, Г. Литневский и В. Боровой, Я. Славутич и И. Качуровский — все они, и те, кто ушёл в лучший мир, и те, кто, слава Богу, жив и сегодня, — вспоминаются мне с тёплым чувством по рукопожатиям и дружественным беседам в Киеве, Берлине и Харькове, в Ирпене и Коктебеле.

Замечу только в завершение, что с поэтом Игорем Качуровским у меня приключилась совсем особая встреча — короткая, но имевшая разветвлённые и неожиданные продолжения. Я с ним виделся десять минут, только один раз в жизни, когда он приезжал в гости из Мюнхена в Харьков к другу своей курской юности Михаилу Ивановичу Берлову, оказавшемуся по совпадению директором моей Харьковской средней школы № 9, педагогом, преподававшим мне в старших классах русский язык и литературу. Надо признаться, что тех давних дней берловской науки и архисурового директорского воспитания я по сути никогда не забывал и даже откликался на них в почти ностальгических стихах, написанных в середине восьмидесятих годов:

То были дни, когда плащи «болонья»
сверкали ослепительно престижно,
когда на школьном многотрудном троне
царил М.И., властительный булыжно.
То дни, где ботанички глаз сощурен,
и зычный голос возвещает пылко,
как чествует генетику Мичурин
отечественной грушей по затылку.

И там на полутёмной перемене
над прахом вейсманизма-морганизма
сияют чудно девичьи колени —
нежнее разложенья света призмой.
Там химией пахнёт из кабинета,
потресканным фаянсом старой ступы,

и там в подвале хлебные котлеты
по ценам удивительно доступны.

Там наши ежедневные богатства —
директорские дьявольские брови,
драчливые соперничества-братства,
престранные ревнивые любви...
И что-то зреет в отроке утрюмом —
глубинней самолюбия и блажи,
как будто лёгким рифмам, трудным думам
нагадан путь — в стокрылом экипаже.

И вот я встретил их обоих, и Качуровского, и Берлова, совершенно неожиданно в старинном особняке Харьковского отделения Союза писателей на Чернышевской улице в самом начале девяностых годов, когда я уже по двум первым поэтическим книжкам был принят в ряды этой благословенной организации. Помнится, в тот летний день на втором этаже писательского особняка М.И. Берлов, которого я уже не видел к тому времени более четверти века, окончив школу в 1965-ом году, представил меня своему другу Игорю Качуровскому, произнеся с заметной, хотя и сдержанно-неторопливой гордостью: «Это, Игорь, мой ученик Сергей Шелковый. Член Союза Писателей...»

Мы обменялись тогда с Качуровским книжками, и он подписал мне свой сборник «Свічада вічності» («Зеркала вечности»), изданный в Мюнхене в 90-ом году, который я, увы, с тех пор не могу раскопать среди тысяч печатных ценностей собственной библиотеки.

И я расстался в тот день с ними обоими ещё на 25 лет, успев даже забыть к прошлой осени точное произнесение фамилии И. Качуровского — ведь за четверть века со мной, как и со всем нашим грешным миром, чего только не произошло...

Но в сентябре прошлого 2014-го, военного и полного тревоги, года, разыскивая в книжных магазинах Харькова, — на тот момент прифронтового, без всяких преувеличений, города, — книги Владимира Свидзинского, этого несравненного украинского Рильке, сожжённого заживо нелюдьми-чекистами в 1941-ом году, я наткнулся на прекрасно изданный

четырёхсотстраничный том И. Качуровского «Лирика». Полистав книгу тут же, у книжных полок, и прочитав пару романтических сонетов, я и вспомнил ту нашу десятиминутную встречу четверть века назад, и с радостью понял, что передо мною стихи поэта со своей собственной темой, с неповторимым жизненным опытом, с интересным и богатым поэтическим языком.

И прийдя домой, теперь уже точно зная имя своего давнего мимолетного знакомца, я тут же прочёл в Википедии, что за десятки лет своих житейских и литературных трудов Игорь Качуровский неустанно колесил и летал по большому и разноликому миру, издавал книги поэзии и прозы и в Австрии, и в Германии, и в Аргентине, гражданином которой был более полувека, и в Украине — в самое последнее время.

Поэт, прозаик, профессор филологии, он писал стихи преимущественно на родном украинском, но и порою по-русски и по-испански. Переводил с десятков разных языков и сам был переведён на многие наречия. Прожил богатую творческую жизнь длиной в 95 лет, жизнь труженика и мыслителя, художника и романтика, странника и скитальца, и умер совсем недавно в 2013-ом году, на полтора года пережив друга своей юности Михаила Берлова.

И вот, не правда ли, высвечиваются воистину достойные наследники жизнестойкости последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского, брошенного царицей Екатериной в ледяную соловецкую яму и дожившего в своём узище несдавшимся и непокорённым до 113 лет? Подобно ему не сдавались в своих трудах-борениях вплоть до почти столетнего возраста, начиная на чужбине с тяжких работ в каменоломнях и портах и неустанно в течение всей жизни создавая свои книги украинские поэты-изгнанники: Игорь Качуровский — в Аргентине и Германии, Яр Славутич — в США, Дмитро Нитченко-Чуб — в Австралии.

Да, поэт Игорь Качуровский неожиданно оказался совсем не чужим мне человеком — начав подробно читать его книгу «Лирика» я натолкнулся сначала на стихи, посвящённые памяти моего строгого школьного учителя и воспитателя, а затем и на довольно подробные воспоминания о совместной курской юности И. Качуровского и М. Берлова.

Причём мой директор школы, перед суровым норовым и пронизывающим взором которого, помнится, трепетали ученики всех классов, предстал теперь передо мной в совершенно ином, шестнадцатилетнем, облике, в своём юношеском увлечении поэзией (их-то и было по сути на весь тогдашний Курск двое молодых, охваченных любовью к поэзии, друга...)

Да и столь колоритные воспоминания, как описания могучего боевого удара крюком снизу моего будущего школьного директора — удара от которого на вечерних курских улицах противник взлетал по диагонали чуть ли не на полметра и отлетал после этого на несколько шагов, захватили меня не только новизной и неожиданностью фактов, поднятых словно бы из глубин и моей собственной биографии, но и впечатлили чем-то близким к откровению.

Впечатлили, наверное, неподдельным удивлением перед тем, как непредсказуемо в своих поворотах и виражах время, и как легко вдруг можно вернуться из 2014-го военного года в 1940-ый предвоенный год, в юность этих двух людей, с одним из которых я был прекрасно знаком целых девять школьных лет, а со вторым, встретившись лишь однажды, продолжаю знакомство и сейчас, читая его книги, глядя его глазами на далёкие континенты и переводя его чеканные полноцветные сонеты.

И вот теперь, произнеся несколько слов лишь о трёх украинских поэтах из четырёх десятков, представленных в этой книге переводов, можно бросить некий обобщающий взгляд на их триединство. Без сомнения, взятые из трагически-оптимистического мартиролога почти наугад, они по достоинству предстают тремя символическими константами национального самосознания украинства — Близько, Свидзинский, Качуровский. Они и сегодня, вопреки всем бесчётным историческим утратам, продолжают своё духовное бытие, свидетельствуя «и славу, и волю» своей родины — пресветлой и глубиннозвучной Руси-Украины, ещё вернее — Перворуси-Украины.

Во второй части книги «Апостольское число» наряду с прежними переводами с двенадцати славянских языков представлены также новые переводы с белорусского языка (Марьян Дукса), с болгарского (Георгий Белев, Красимир Георгиев, Борислав Геронтиев), с македонского (Ацо Шопов),

с польского (Казимеж Бурнат, Изабелла Филипьяк), с сербского (Момчило Джеркович, Десанка Максимович, Владимир Ягличич), с чешского (Ярослав Сейферт).

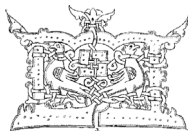
Думаю, что будет уместно и справедливо привести здесь пару строф из стихотворения болгарского поэта Красимира Георгиева «Война», переведённого мной летом 2014 года, летом войны на Украине — войны, жестокой и меченной кровавой каиновой печатью:

Империи живут насильем и войной.
Когда воюет Савл, теряет голос Павел.
Над теми, кто убит, над паствою земной
провозглашает власть самодержавный дьявол.

Пегасом в рифму ржёт, бахвалится война
то ядерным грибом, то атомною розой.
Но поэтичных слов для смерти нет — она
написана всегда неумолимой прозой...

При том, что из стихов второго раздела книги не выбросить и подобных строк, говорящих горькую правду, я всё же назвал этот раздел переводов с наречий белорусов, болгар, боснийцев, македонцев, поляков, сербов, словаков, словенцев, хорватов, черногорцев и чехов светлой строкой из майского любовного стихотворения Ярослава Сейферта, чешского нобелиата и жизнелюба: «И нежной присяге никто не изменит из нас...» Думаю и сегодня о лучшем — о том, что духовная и речевая гармония, «слава и воля» поэтов, пишущих на разных славянских языках, — это подлинная, а не перевёрнутая реальность человеческого мира. И наверное, неслучайно, что число языков, породившее эту книгу поэтических переводов на русский, совпадает с символическим «апостольским числом».

«Печаль упрятав в тень золотую...»



*переводы
с украинского*

Иван Франко

(1856—1916)

ИЗ «ТЮРЕМНЫХ СОНЕТОВ»

* * *

Сижу в тюрьме, как в зарослях охотник.
Передо мной зверьё всех видов скачет
И сущности своей ничуть не прячет,
Хвалясь, кто в чём маститый греховодник.

Здесь лис — прожжённый вор, а не святой,
И волк — не музыкант, а лишь убийца.
Медведь — без бубна, лютый кровопийца,
Смердящий ненасытною Ордой.

Здесь обнажённой каждого обличье,
Как будто, сбросив фраки и мундиры,
Они весь стыд, всю совесть и приличья

Отбросили. И я готовлю стрелы
В засаде. Я — стрелок. И правда лиры —
Мой выстрел дальнозоркого прицела.

1889

* * *

Тюремный мрак, удушье и рыдания,
Застенки пыток, казематы муки.
Сожми, входящий, зубы, стисни руки,
Отбрось надежды, узник, и желанья.

Тут полют сорняки средь жита, вроде,
Но тотчас те, что злей, и высевают.
Параграфами правду измеряют,
Но льётся кривда мутью половодья.

Тут власть оберегают, но основу
Самих основ — свободу, мысль и слово, —
Вбивают в прах, мордуя арестанта.

Вы, **что**, попав сюда, в капкан, хотели
Найти здесь человечность, в самом деле? —
Lasciate ogni speranza* — молвил Данте.

1889

* * *

Россия, край терпенья и печали,
Всё с тем же, что и прежде, сбоем зренья,
Где тот же угол лжи и самомненья
Созревшие умы облюбовали.

Дрожишь ты, в косной тяжести закланной,
Когда летят бесстрашно — в бой за волю —

* оставьте всю надежду (*итал.*)

Сыны твои, как соколы над хатой,
И вновь костями ложатся в снежном поле.

Россия, пустошь крайностей жестоких!
Твой витязь Святогор храпит в угаре,
Казачья воля спит в степях широких.

А девушка-голубка на бульваре
Платком, а не военною трубою,
Сигнал даёт кровавому разбою.

1889

Олександр Олесь

(1878—1944)

ГОЛОД

Проклятый, вызванный громами,
Он страшно над землёй восстал
И ненасытными зубами
В кровавой мгле заскрежетал.

Пошёл притихшим сникшим полем
На сёла, словно камнепад,
И, будто ненасытный Голем,
Всех жадно грыз и ел подряд.

Он разрывал быков руками,
Проглатывал овец стада,
Младенцев пожирал с костями
Живьём — без страха и стыда.

Всё съел. А тех, кто попытались
Бежать, догнал в горах, в лесах,
И всех, кто в муках мук распялись,
Сожрал, голодный, на крестах.

Влез на гору, посредь пустыни,
И выжег, криво глядя вниз,
Огнём на каменной вершине:
«Хлеб, мир, свобода — наш девиз!»

* * *

С печалью радость обнялась.
В слезах, как в жемчуге, мой смех.
И с юным утром ночь сплелась
Над чередой тревожных вех.

Едины радость и Журба,
Сливаясь в круговерти дней.
И не стихает их борьба,
И я не знаю — кто сильнее...

* * *

Лебеди ль, гуси по небу плывут
Там, в синеве, надо мною,
Солнца потоки лучистые пьют?
В брызгах цветы-самоцветы цветут,
Как в Украине весною.

Тучи ли, лебеди, гуси ли там
Реют в небесной купели?
Сердце своё вам, крылатым, отдам,
Снова с мольбой обращаясь к ветрам,
Чтоб на Украину летели.

Ой, полетите к любимой, к родной,
Чёрной печалью напейтесь.
Сердце моё отнесите домой
И над цветущей степною весной
Кровью моею пролейте!

* * *

Марии Фабиановой

В Вас столько солнца золотого,
Лазури чистой и тепла,
Как будто Вас из дня иного
Волна морская принесла.

Как в силах Вы светить, живая,
Средь обезлюдевших пустынь,
Лучами сердца согревая
Гранитных скал бездушных стын?

Иль принесли Вас волны-крылья,
Чтоб Вы светили в сизой мгле,
Чтоб люди с верой в завтра жили
И ждали счастья на земле?

Владимир Свидзинский

(1885—1941)

* * *

Усталый, спелый, на холмы склонившись,
День спал и спал.
Казалось, никогда
Не проплывут глубины голубые
Над нивами. Ленивый, беззаботный,
И я прилёг, отдавшись власти сна.
Проснулся — день мой полноцветный, где ты?
Мгла тонкая с востока протянулась.
Двумя крылами обнимая поле.
В могиле солнце. Дерево замолкло,
И, пойманные в чашечках тюльпанов
Холодной мглою, занемели пчёлы,
Что славили так звонко дня рождение.

1929

* * *

Где-то дождь идёт —
Не смолкают голоса кукушек.
Снова ли мальчик я?

Так хочу дотянуться рукой до гнезда.
Где молния лежит,
Словно укутанная шерстью змея.
Где-то дождь идёт.

* * *

Холодная тишина. Месяц надломленный,
Со мною будь и освяти печаль мою.
Она, как снег на ветвях, умирилась.
Она, как снег на ветвях, и осыплется.
Три радости у меня не отнять:
Одиночество, труд, молчание. Тоски злой
Нет больше. Месяц надломленный,
Я виноград обновления в ночь несу.
На мёртвом поле стану помолиться,
И будут звёзды рядом со мной падать.

1932

* * *

— Грустно, тоскливо. Во мне всё завяло, как эта вот ветка —
Так ты сказала и к мёртвой листве прикоснулась рукою.
Месяцы, годы пройдут. Но останется мне до кончины
Каждый засохший листок твоим колким укором.

* * *

Марийкою и Стефцею их звали,
Как островок горошка голубого
На поле жита, так они цвели,
Свои девичьи овекая дни
Красой печальных песен Украины.
И вот я вновь в своём родном селе.
Село моё, что сделалось с тобою?
Померкло ты, завяло, потемнело.
Лежишь у яра, и осенний лист
Тебя, как гриб забытый, засыпает.
Марийки нету. Синева очей
И нежность её юного чела
Затенены косынкою простою,
И быстрота упругих крепких рук —
Погасло всё, засыпалось землёю.
А Стефцю видел я. Совсем бледна,
Бессильно у груди дитя держала
И говорила: «Гляньте на него —
Оно краснеет, будто та калина.
Неужто так ему Господь даёт?
Ведь это ж, послезавтра будет месяц,
Как в доме нет и малой корки хлеба».
Заплакала, к ребёнку наклоняясь.

* * *

Снилось мне —
Сердце моё стало,
Пришли люди —
Душистым дымом окурили,
золотой сеткой оплели.

А потом прилетел быстрый чернокрыл,
Тело моё взял
И в своё жилище унёс,
А его жилище острые горы,
Глубокие провалы, тёмные пороги.
Там-то он сел —
Закричал:
«Хоть какой ты ни был
Пылкий и отважный —
Всему миру под стать!
А теперь ты мой.
Могучие руки поотрываю,
Охотничьи очи повыпиваю,
Ибо мой же ты, мой!»
И отозвались горы — твой!
Глубокие провалы — твой!
Тёмные пороги — твой!

1926

* * *

Ударил дождь и покачнул
Покой полуденного хмеля,
Цветной горошек распахнул
Глаза, и бабочки взлетели.

Где ж ты? Твоих напевов звук
Дождь заглушил нетерпеливо.
Смотрю я: затуманен луг,
И ты бежишь ко мне счастливо.

И нет ни неба, ни земли,
И блещет нить в узоре вохком.
Ты, как яичко, в платье лёгком
Белеешь на лугу вдали.

Вот добежала — ливень стих.
Тебя целую и вдыхаю
От плеч обрызганных твоих
Небесный тёплый запах мая.

* * *

Мы уже почти дошли до дома,
Когда вдруг сказал мне на ходу ты:
«Мне здесь рядом кладбище знакомо,
Так давай зайдём на две минуты».

Я кивнул. И мы вошли в ворота,
Там дерев раскидистых когорта
Сонно нас встречала. И, в печали,
Нас ряды надгробий привечали.

Сели рядом мы за поворотом.
Ты курил, молчал, дышал надсадно.
Было тихо. Лишь пунктирным кодом
Бил кузнечик — сухо, остро, складно.

Ты сказал: «А хорошо здесь всё же,
По дороге от вокзала к дому
Я люблю бывать здесь. И похоже,
Душно нынче. Жди под вечер грома».

Солнце село. Вея неизвестным,
Надвигались тучи тяжело, криво.
Поднялись мы. Рядом с этим местом
Ты лежишь теперь под тенью ивы.

1934

* * *

Неодолимо нависла над мокрым окном
Ослеплённых будней муть.
Спокойна вещей суть,
Затаились горькие слова,
И тускнеет печаль моя,
Как подо льдом трава.

Зарастает зеркало пылью,
Память о нежной — забвением.

Пуškai вещи спокойно живут
Под глухою корой молчания.

Ни вечерняя заря, ни ранняя
Ни с далёких, ни с близких дорог
На мой забытый порог
Милого голоса не приведут.

1932

* * *

Спало всё. И месяц-свет погас.
Лишь мерцала тихо звёзд канва.
Снились мне в таинственный тот час
Непорочной ясности слова.

Пахло слово, как трава бурьян,
А второе — яблоком в саду.
И одно звучало, как орган,
А второе кликало дуду.

И от удивленья я затих,
Как легко приходит радость слов.
Был бы в поле я средь колосков,
Дал бы имя каждому из них.

1937

* * *

Лицо зеркала мертвеет в тени,
И прадавняя тишина спит,
Как налитая в миску вода.
Только руки мои живут —
Иногда странно, как-то отдельно,
Иногда движение моих рук
Выводит меня из задумчивости,
Словно шелест в лёгком листе.
Я встаю, подхожу к окну.

Надбитая колонка стоит у крыльца,
Цвель в её желобках.

Долетают сюда снежинки,
Долетают синицы по утрам.
Наклоняюсь лбом к стеклу,
Долго на них смотрю.

Не люблю, когда приходит ночь,
Завёрнутая в тёмный платок
Мшисто-зелёного цвета.
Тишина стекает в большой пруд.
Синие синицы, где вы по ночам?

Лицо зеркала мертвеет в тени.
Занавеси становятся каменными.
И, очерченный кругом молчанья,
Я глуше и печальней горю,
Я горю, как китайский фонарик,
Забытый на ветке в старом саду.

1933

* * *

Быстрый день упал за гай далёкий,
Отчеканив ясеней узор.
Откатился дня горячий клёкот
В огнецветы зорь.

Я один на тёмном пепелище.
Никнут травы, сохнет кровь в пыли.
Чёрный великан упорно, хищно
Поднимает торс из-под земли.

* * *

Нет, солнце, больше не приходи,
Блуждай себе аистом по заводям света,
Раскачивайся на усах ячменя,
Оставайся на руках яблонь,
Но ко мне не приходи,
Уже ведь и радость томит меня, как печаль.

Или навести меня в чужом облике,
Чтобы не мог я тебя узнать.
Залети огнецветом да и вылети,
Навей аромат да и развей,
Войди лесной девочкой,
Что приносит землянику в горсти.
Постой у порога да и выйди.

А как станет тихо и пусто
И печаль охватит все вещи,
Я догадаюсь и скажу:
— То приходило солнце.

1932

* * *

Загудел трамвай — свернул направо.
В месячном мерцанье, за домами,
Скрылся, словно в чаще за кустами
Зверь высокий и золотоголовый.

Я один, проулок полунищий
Вяжет ноги пылью, множит морок.

И ни друг не уследит, ни ворог,
Как укроюсь я в своём жилище.

1934

* * *

Уже так тихо во дворе,
И ветер не шуршит листком,
И в окнах темно кругом,
И только под осокорем
Стоит колыбель пустая,
То ли брошенная, то ли забытая.

Я знаю — за рядом домов
Кипят улицы гомоном,
Светлые экипажи колобродят,
И может, в весёлой толпе
Моя скиталица ходит,
Так говорлива и счастлива.

Но кто небогат на счастье,
Тому лучше не быть там,
Тому лучше в глухом дворе,
Где мирные, верные осокори,
И стоит колыбель пустая,
То ли брошенная, то ли забытая.

1931

* * *

Костляво гремят трамваи,
Словно падают с высоты,
Огней — как листков средь гая,
И горят в сто свеч мосты.

Я волнуюсь, ласкаясь оком
К нежной тьме весенней листвы.
По садам золотятся окна
Светляками Купальской травы.

И я сам хожу, как по лесу,
Нигде не желанный. Ничей.
В глубине окна, сквозь завесу.
Вижу тень виноградных очей.

И найду ли тебя, не знаю.
И не ведаю даже, кто ты.
Как царевич Иван, обмираю
В ожиданье твоей красоты.

1932

* * *

Спи. Засни.
Послетались на берег рыбачьи челны.
Тучка за тучкой падает на закат,
Как за листком листок.
Два всадника подъезжают к броду:
Сивый конь поставил копыта в воду,
Вороной на песок.

Слышишь, дивчина темнокосая
Играет на сопилке красным рыбкам,
Чтобы красные рыбки заснули —
И они засыпают.
Слышишь: за звуком звук
Поглощает мрак недобрый.
Дальний мост дрожит, как паук,
Репьи поднимают шпаги к горизонту
И тают. Вяжутся гроздьями
Зори, опускают ресницы вниз.
Спи, покачнула завесами
Ночь.

1932

* * *

Темно в моём жилище, как в колодце.
Иду я в поле. Талая вода
Вокруг. И юный блик с востока льётся,
И город покидают поезда.

И так гремят, так тешатся весною!
Стою над полем влажным, молодым,
Стою один — и вьётся надо мною,
И прочь летит разорванный их дым.

1936

* * *

Когда мы вышли,
Берёзы сеяли росистый шум.
За оградой, за жердями,
Мы увидели безумных —
Они были в белом, как берёзы.

— Дитя моё, убили тебя,
В потоптанном саду
Распяли тебя —
(Ты взяла мою руку).
— Смерть над бровью,
А на груди две,
Кузнечик по волосам,
Будто по траве —
(Ты испуганно прижалась ко мне).
Берёзы сеяли росистый шум.

Мы спустились с пригорка —
Там запруда, всплески шума.
Новенькая лопасть в колесе.
Повернули направо —
Ветер в лицо, васильки.
— Правда, папка,
Среди васильков не бывает безумных?

1933

* * *

Зимой, на рассвете,
Когда сосны зарываются лапами в снег,

А головы поднимают к свету.
Сладко приковать себя к тишине
Твоей холодной души —
Таким мужеством веет от неё!
Положу ли пальцы на зря возвращённые мечты,
Горькая музыка моей печали
Опадает снежинками
В блеске твоём
И, осиянная, тает
Зимой, на рассвете,
Когда сосны зарываются лапами в снег.

1933

* * *

М. Степняковой

Из-за жёлтого клёна
Жарка заря в паутине.
Гашу над столом моим
Пламени побледневший листок,
А с ним
И цвета милой сказки.
Целую ночь фарфоровый ялик плыл
Против густой ряски.

Недолго осени сгорбленный день
Будет хромать в поле пустом,
Только грустно, каждый раз всё грустней,
Возвращаться под вечер домой.
Из-за серых кровель
Руки дыма в липкой паутине.

Фарфоровый ялик мой,
Поплывём ли ныне?

1932

* * *

Кто там бродил всю ночь двором, у сада,
И хрупкий лёд сосулек обломал,
Сверкавших в полдень, как живой кристалл,
Там у двери, на стеблях винограда?

Кто — не узнал я... Тёмный сон глубокий
Немой скалою слух мой придавил.
И слышно было лишь заре высокой,
Как сбитый лёд со звоном в камень бил.

1938

* * *

Пришёл в сад, где был мальчиком,
В подмороженной тишине вечера
Все деревья всколыхнулись.
— Где ты так долго, долго был?
Знать, все миры обошёл,
Отряхнул золотую яблоню,
Пил воду с лица месяца,
Добыл обломок радуги? —
Я стал, отвечаю тихо:
— Золотых яблок не рвал,

Из криницы неба не пил воды,
До радуги не дотянулся, —
Все деревья опечалились.

Когда заморозки — сад глубокий.
В саду светлеет окно.
Вошёл я — там дед замшелый,
На свитке красные усы,
Под сапогами мокрый след.
Я лёг на топчан скрипучий,
На нём покрывало в полосках,
Только синяя потемнела —
За долгие годы померкла.
Начинает замшелый дед:
А как был себе хлопчик малый,
Да ушёл в далёкий свет,
А горбатая за ним вослед...
Трещит в печке солома,
Смертный сон облегает ресницы,
Как тот иней нависшую стреху.

1931

* * *

Ты хотела посмотреть на зарю.
Было ещё темно.
Несчётные зарницы роились на восходе,
Нависали, как чашечки ландышей,
Кое-где пробегал ветер.

Потом —
Заря показалась, как грудь кобчика.

В поле, над дорогой,
Сгорбленные медведи,
Вздыбившись на задние лапы,
Обречённо потопали за горизонт.

Вдруг —
Дорога зарниц поголубела,
Деревья расступились,
И мы слышали, как ветер молил:
Медведи, медведи,
Не прикидывайтесь тополями,
Не прикидывайтесь.

1933

* * *

Выплывает на море лодка —
С такою огнистою грудью.
На лодке навес, как сито,
Под тем навесом люди.

Немного — один китаец
С удочкой тростниковой.
Веют пальмы, ныряют бакланы,
На горах снегов обнова.

Почему-то грустит китаец,
Бросил снасть и не ловит кефали.
Выплывает дельфин из моря:
— Китаец, не надо печали.

— Ну как же не надо печали!
Мой кораблик старый усталый,
Сам я юный, усики в нитку,
И наряд на мне ярко-алый.

Погляди — ведь я же невольник.
С красотой моей пышной такую
Я навек пририсован к фаянсу
Злонамеренной чьей-то рукою!

1931

* * *

Как хочется уйти мне от себя,
От всех воспоминаний и желаний...
На берегу морском находят дети
Сияющие камешки — вдруг я
Найду себе другой характер где-то
И стану новым — беззаботным, властным,
Вальяжным и уверенным в себе.
Или купаться буду — и к ноге
Щербатая горошинка прибьётся.
Я проглочу её и стану враз
В посёлке южном рыбаком. И буду
Грести на лодке, невода плести
И часто ночевать на тёплом море.
И плыть домой, как только в гривы туч
Вплетутся розовеющие пряди.
Потом на кухне, у стола присев,
Смотреть, как мать умело чистит рыбу,
Как чешуя, вспорхнув из-под ножа,
Ей к пальчикам шершавым прилипает.

* * *

*Памяти З. С-ской***1.**

Размеренно тяжко ступали кони.
Ты лежала высоко и спокойно,
Неподвижна сама, ты вела всех.
Суровые люди шли за тобою,
И дети тоже провожали тебя.
По правую руку текло вечернее солнце,
По левую — липы сияли цветом.
К звукам музыки, тяжёлым, как железо,
Добавила свой лёгкий голос иволга,
И мои слёзы падали на дорогу.

И так пришли мы в странное поселенье,
Странное поселенье, где ни единого дома.
Нигде не видно высоких окон.
А только ветки колышутся и шумят.
Музыка смолкла. Замер свет.
Тебя подняли, тебя опустили.
И я целовал твою тихую руку...
Когда перестал мелькать заступ,
На холмик положили венок из клёна,
А в изголовье сосновый венок.
Вздохнуло солнце. Повеяло дыханье
Большой тишины.

2.

Когда ты была со мною, лада моя,
Всё было до ладу,

Как солнце в саду.
А теперь разладился мир, лада моя,
Встала между нами разрыв-трава.
Разрыв-трава высоко растёт,
Разорвала ночи и дни.

Сначала были они, как крылья ласточки:
Верх чёрный, испод белый, а крыло одно.
Теперь они, как разломанный камень —
Колют и ранят, лада моя.
Стало тяжело мне нести время.
Тоска рвёт мысли мои,
Как буря метёт снегом.
Одна снежинка упадёт на лёд,
И ветер гонит её в неизвестность.
Вторая — ляжет под берёзой
В скованный след копыта.
Третья разобьётся о сук.
Стало тяжело мне нести время.

Не к одной двери приводит нас вечер,
Не в одном окне радуемся мы утру.
И разучился я творить сказку.
Так остро смотрю,
А вижу только видимое,
Только возможное, ой лада моя.

1932

УГОЛЬЩИК

Распродал чёрный уголь, сам весь чёрный,
Поужинал, купив вина и хлеба,

Да и на воз дощатый свой склонился.
А конь его, неспешно оглядевшись,
Бурьян пожухлый стал щипать губами.

Поедет в полночь. Не близка дорога.
Низины и в тумане камыши,
А вслед — холмов бело-песчаных рёбра.
Сквозь даль молочный запах конопли.
И ночь, и одиночество — протяжны.

К рассвету переедет через дамбу
И всколыхнёт под ветками проулка
Стоячее и душное тепло.
И тихо фыркнет конь, засовы грякнут,
И вспыхнет от порога: «Это ты?»

1928

* * *

Средь проулков-сплетений
Чуть мерцает туман.
Тень высоких строений
Полонила майдан.

Молкнут ветра сказанья...
И средь сумерек-чар
Холодок увяданья
Овекает бульвар.

И закат ярок, точно
Зацвела оболонь;
И в кофейне молочно
Распустился огонь.

Нежным пламенем канна
Посредь сквера горит.
Жизни миг несказанно,
Невесомо летит.

* * *

Как тихо тут: земля и небо!
Уже лещина ввысь пустила
Свои светильники-соцветья.
И хрупко ряска расцвела.

Как мирно тут: тебе на руку
Упала мошка-попрыгунья,
И в водах озерца жерлянки
Лесную выдумку куют.

Прислушайся: там за горою
И за верхушками деревьев
Роняет небо капли света
В живые росплески весны.

Побудем тут. Тут все дороги
Земли, любовью истомлённой,
Сошлись и нежат нас, слабейших.
Побудем тут наедине.

1929

* * *

Так я меж вами живу, одинок в своих тайных раздумьях.
Словно тот клён, что на торжище вырос случайно.
Почками ль снова обмётан, листву ли роняет кроваво,
В шуме толпы хлопотливой никто его не замечает.

1924

* * *

Высохли рассвета росы,
И не пил я их.
А теперь... Лежат покосы
На полях пустых.

Но теперь росой вечерней
Смутно я упьюсь.
И в степи, степи безмерной
Тихо растворюсь.

* * *

Давно, давно тебя я жду...
Когда б увидеть ты могла,
Как радостно теперь в саду,
Как ярко мальва расцвела.
И ждут цветы тебя, как я...
Ведь я их для тебя сажал
И для тебя берёг, растил;
Ведь это ты, любовь моя,
Дала им счастье бытия,

В своей далёкой стороне
Была им солнцем, словно мне...
А я, печалюсь каждый раз,
В вечерний одинокий час
Рассказывал им в тишине,
Как образ твой сияет мне.

1912

ТЁМНАЯ

Старая, старенькая,
Босые, потресканные ноги,
В одной руке клюка.
В другой жестянка.
Прислонилась лицом к церковной стене
И словно замерла.
Тёмная. Ни синего неба,
Ни свежей листвы не видит.
Обняв её прохладною тенью,
Шепчет над ней душистая липа.
Жара. Полдень гомонит, щебечет, поёт...
В саду над верхушками деревьев
Пронзительно каркают вороны.
Сладко пахнут акации белые.
Пошла...
Я знаю её бедное жилище:
Длинное, узкое подворье.
Развалюха-дом в глубине,
А с краю дома — её лепнянка.
крыша прогнила, погнулись стены,
Скоро повалится совсем...
Как пахнут акации белые!...

* * *

Настанет день мой печальный —
Отлечу, оторвусь от живого костра,
Что так высоко взметнул,
Так расцветил чудесно
Свой певчий, порывистый огонь.
И погаснешь для меня
Ты, страстный мир,
Ненаглядный мир,
Бурливый, пьянящий.
Не буду как лист древесный,
Ни как травинка, лишённая слова,
А буду как сонный гранит
Над гомоном вод неуёмных.
Замкнусь в молчании тяжком,
Сольюсь с невыразимой мыслью
В огромном всём...
Буду как сонный гранит.

* * *

О. С-кому

Мы в ночь вошли. Заря не светит нам.
Наш день умолк. И, двери отворя,
Склоняется над нами смерть. А там,
С востока, снова светится заря.

Пусть те рассветы молодым горят,
Как прежде нам. А мы — добыча тьмы.
И вспомним на прощание, мой брат,
Как золотились мы.

* * *

Ещё цветок огнистый, осень
качает сломанным стеблем,
Ещё не разорвало ветром
Влажного тепла.
И руки у тебя ещё тёплы,
Когда мы сходимся под вечер
И шершавый осокорь
Ржаво скрипит над нами.

1928

* * *

Уже ни словом, ни песней, ни блеском глаз не увлеку
Юного сердца. Но есть у меня доня, мой росток нежный,
Будет любить меня и вечернего. Буду ей милым
Даже тогда, когда затихну под глыбами смертной ночи.

1932

ОГОНЬ

Положил на стены крылья вздыбленные
И, словно стрекоза на листке водокраса,
Замер. Я в тихом одиночестве пишу, а он
Наострил ушко срезанное и слушает.
Как друг, как верный сообщник, труд мой любит он.
Со мной дышит и со мной думает
И, только взволнуюсь я, вздрагивает.

Давно минула полночь, дикая тьма
Скребёт дверь ненасытным когтем.
Я изнемогаю, но друг не утомим.
Я приближаюсь. Добрый и доверчивый,
Он смерти не поддастся. Я дышу.
Земля содрогнулась. Тьма внезапно грянула,
Навалилась каменным обрушением.
Погиб он или быстрые крылья выхватил
Из-под тяжести — и скрылся без вести?

1932

* * *

Овевал долину вечер чёрный,
Иней густо одевал сады.
От криницы по тропе нагорной
Ты прошла с бадейкою воды.

Я сказал тебе слова привета,
Был ответом мне твой взор чужой.
Лишь искрил лучом, осколком света
Из бадейки месяц молодой.

* * *

Наберу я цветов в залесье,
Положу на твоём окне.
Как давно мы сходились вместе,
Чтоб отдать наши дни весне.

Перейдём мы дорогу и насыпь,
И нас примет сосновый бор.
И в лощине куст барбариса
Прошумит нам летучий укор.

Меж деревьев, высоких и тёмных,
Просочится заката медь,
Глушь лесная к мирам надземным
Поспешит улететь.

1.7.1928

* * *

П. Тычине

Как белый призрак, взлетели горы,
И много блеска в небесной сини.
И кипарисов тонки узоры,
И кипарисы сияют ныне.

Печаль укутав в тень золотую,
Останусь в волнах, в ультрамариине...
Мул колокольцем звенит, колдуя.
Печаль упрячу в тень золотую...

ПОЕЗД

Как ударит гудком из-за леса,
Вздвогнут ветки, качнётся земля.
Сотня кованых лап из железа
Под себя подминает поля.

Но над содранной шкурой оброка,
Над песками, над шрамами зла
Поднимаются зеленооко
Дети отчей степи без числа.

Разнотравья чудесны обличья.
Мягко светит Петров батог,
И вцепились в хвосты лисичьи
Черевички с кукушкиных ног.

Паутина вздымает несмело
Лёгких кубков молочный хрусталь.
Здесь все те, чей покой одолела
Сила плуга и заступа сталь.

А хозяин, что с чад степоволья
И сдирал, и сдирает оброк,
Награждает их скромною ролью
Соглядатаев гордых дорог.

1928

* * *

Умрут и небо, и земля,
Замолкнут голоса природы,
Ни берега, ни корабля
Уже не тронут плеском воды.

Всё, что растёт, сияет, пахнет,
Безмолвный холод вмиг пожрёт,
И злоба без людей зачахнет,
И без добычи смерть умрёт.

Но мне представить бы хотелось,
Что над погибелью земной
Твои продлятся жизнь и смелость,
О буйный ветер мой степной!

Твоё не смолкнет трепетанье
И ты во мраке средь руин
Как эхо давнего дерзанья
Всё будешь повторять один

Слова поэтов прозорливых,
Отважных странников земных
Мольбы их песен незлобливых
И плачи, и проклятья их.

17.10.1940

* * *

Как плещет твой плащ химерный
Из ветра, тьмы и огня!
Прошла ты — и больше в мире
Нет ничего для меня.

Как очи твои бездонны! —
Заря и ночной звездопад.
И там, в темноте их карей,
Ветвится мой песенный сад.

Как нежно остры твои груди,
Едва лишь притронусь к ним,
Теряю и волю и память!
И счастьем тревожусь своим.

Как тонко узки ладони,
Что, словно во сне, наяву
На лоб мне кладёшь ты, и снова
Тобою одной я живу.

Как плещет твой плащ химерный!
Как ясен очей огонь!
Как нежно остры твои груди!
Как тонко узка ладонь!

* * *

Тени протяжно легли, но вверху, на ветвях, — ещё солнце.
Жёлтые гривы тай-зелья ясней выделяются в травах.
Ясени тихо стоят, и на пасеке мёдом запахло.
Реет черлян-мотылёк. То присядет на цвет бузиновый,
Крылья расправив, то, цокнув на взмахе, взлетает.
Мир возле дома, покой, воркованье доносится с крыши.
Тени протяжно легли, но всё держатся ветки за солнце.

1928

Михайло Драй-Хмара

(1889—1939)

* * *

Я полюбил тебя той пятой
весной голодной... Всю до дна.
Благословил и путь проклятый,
залитый пурпуром вина.

Орлицей ты на бой летела,
добра исполнена, не зла.
Я видел кровь на крыльях белых
и рану посреди чела...

И горб Голгофы вновь вздувался
там, где нежны степные дни.
И на ворота враг взбирался,
крича: распни её, распни!

И горечь этой крестной муки
сполна мы пили — из ведра.
Соединив в молчанье руки,
мы шли как брат и как сестра.

1924

* * *

Я мир вбираю страстью ока,
влюбляясь в линию и цвет.
И лемехи лучей глубоко
в моих полях проводят след.

Люблю слова, что полнозвонны,
как мёд, пахучи и хмельны,
те, что в себя в тиши бездонной
вобрали вековые сны.

Эпитеты среди них — как напасть:
красуются то там, то тут.
И только ямбы и анапест
устав свой бережно блюдут.

А осени золотокошой
дарю печали я рубин,
в мой перстень вправленный. И осы
летят на лозы поздних вин.

Смотрю и слышу, как прозрачно
звучат потоки бытия.
И так же чисто, не иначе, —
мне верится, — спою и я.

1925

* * *

На серой стенке спичкою сожжённой
дни отмечаю, злые времена,

топчу весь день тюремный камень тёмный
и напиваюсь грустью допьяна.

Напившись, вороных впрягаю в шоры
и, догоняя давние лета,
в живую синь лечу, в свои просторы,
где юность — так свежа и золота.

Вернитесь, — я молю, — хоть на мгновенье!
Но только «Нет!» мне слышится в ответ.
И на мосту калиновом в прозреньё
заплакал я... И вижу клетки свет,

обрывок синевы, крестом распятый
в решётке, и свирепый глаз в волчке...
Нет, вороные — до конца утрата:
я в каменном, я в каменном мешке.

24.5.1937

Микола Зеров

(1890—1937)

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ

И тогда прокричал петух...

Рой свечек, тёплый чад. С высоких хор
Звучит напев неверья и печали.
Круг палачей и стража в синей стали,
Синедрион и кесарь, и претор.

То наших судеб скомканный узор,
То нас предупреждает воплем кочет,
И во дворе для нас костёр клокочет,
И слуг гудит архиерейский хор.

И тёмный свод евангельских историй
Звучит пунктиром тонких аллегорий
О наших жадных подлых временах.

А за дверьми, на кладбище, в притворе
Ребёнка голос, щебетанье птах
И в смутном воздухе безжизненные зори.

ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА

Благообразный Иосиф...

Аримафеи житель благочинный
И тайный Иисуса ученик
К руке, гвоздём израненной, приник
И плоть Господню в пелену кончины

Повил... И солнце чёрное кручины
Явило Иудее грозный лик
Как знак того, что для людей и книг
Настал великий миг первопричины.

И с тихим плачем ночь сошла на сад —
Кресты и холм, и стражников отряд, —
Всё спит, объято густо-синей мглою.

И, призрачны, с поникшей головой,
Проносят жёны дар печальный свой —
Душистый нард и мирру, и алоэ.

САЛОМЕЯ

Там левантийских полнолуний чары
тепло и пряно гонят к сердцу кровь,
там диким цветом отцвела любовь,
и всё в крови — и шлемы, и тиары.

А с водосбора, предвещая кары,
гремит пророк, седины разметав.
Йоканаан!.. Не ясный шум дубрав —
в его словах пустыня и пожары.

А Саломея!.. Лишь дитя! Но взгляд
струит прозрачно смертоносный яд,
клинок и месть упрямо накликают.

Душа моя! Беги же! Синий вал
спешит туда, где средь эгейских скал,
стройна, как луч, белеет Навсикая.

ВЕРГИЛИЙ

Мужик из Мантуи, поспешный и смуглявый,
в мальчишестве облаканный селом,
воспел и жезл, и бронзовый шелом
и сам был осенён великой славой,

поскольку, сквозь пожары распри ржавой
увидив лучший век, пропел псалом о том,
как процветает мир под цезарским орлом
в заботливом ярме незыблемой державы.

Тот век минул — и Рим, и цезарей дела
рука истории к гробам поволокла,
где тлеют всех времён фантомы и короны.

А он живёт, и звучный гул его поэм
доныне снится нам рыданием Дидоны,
бряцаньем панцирей и всплесками трирем.

ПАРТЕНИТ

М.А. Драй-Хмаре

Трубадуры, как Максим Рыльский...

На скалах, где ломают диорит,
За тёмною грядою Аю-Дага
Почила древнегреческая сага,
Храм Артемиды, первый Партенит.

Века минули, но не стёрли след!
Всё длятся чудеса Архипелага —
Ореста зов, Пиладова отвага
Предсмертный Ифигении привет.

И двум поэтам, что заплыли в море,
Опять в ахейском чудятся просторе
Сверкающие вёслами челны,

А дачников вальяжные фигуры
Оценят щедро их цветные сны
Процеженным сквозь зубы: «Трубадуры...»

СКОРПИОН

Блаженны дни и полночи в селе.
Земли Волынской плодоносно лоно
И дух полей, и голоса с балкона,
И клёкот жаб на ветровом крыле.

А в плёсе, словно в аспидном стекле,
Уже зажглось созвездье Скорпиона,

И Антарес алмаз злато-зелёный
Над горизонтом засветил во мгле.

Я уезжал, и глазом астролога
Читал средь звёзд, куда ведёт дорога,
Назначенная мне теченьем дней.

И гас недобрый Скорпий над рекою,
А лук Стрельца крепчал тугой дугою,
Светясь приветной россыпью огней.

Яков Савченко

(1890—1937)

* * *

В полночь он прилетит на храпящем коне
И в окно постучится железным клинком.
И последнюю сказку доскажешь ты мне,
И заплачешь тайком.
Станет ясной тебе неизбежная суть,
Что за всадник ночной восседает в седле.
Лишь зажжёшь ты свечу, освещаая нам путь,
Уходящим во мгле.
И навек. Навсегда... Только миф обо мне
Схоронить, как меня, и ему не дано.
Будешь так вспоминать: прилетал на коне —
Постучался в окно...

1918

СОЛНЦЕ ПОД ГОЛОВЫ

Зажжём небеса и взметнёмся душой в круговерти!
В степи разнуздаем слепого коня.
...Клокочет огонь нам — навеки поверьте!
Поёт вся земля.

Выходим босыми — и косы мы точим, —
Печаль наша, гнев — огневой стрелолёт.
...Доныне нам снится, как выгнили очи
В трясиных болот.

И видим опять — площадные оравы,
Убитые дети — в железных когтях.
И кровью полощет их вечер отравы,
Хрипит на телах...

Великим, нам плакать ли плачем нелепым?
В сердцах наших тёплых — ворота векам.
Сегодня мы звёздным укроемся небом,
А солнце — под головы нам!

Юрий Клён

(1891—1947)

КОРТЕС

1.

В край сказочный, под пальмы и агавы,
Где в зное зреют гроздья островов,
Влекли тебя полотна парусов
И страсть добычи, авантю и славы.

Саргассовы в борта впивались травы,
Звенели ветром крылья кораблей.
И звали сквозь безмерность волн и дней
Богатства экзотической державы.

Все годы ты мечтою жил — теперь
В огромный мир тебе открылась дверь,
где всюду — синь озёр, цветы по пояс.

Гляди же — вон в лучах зари горит
Тот Мехико, золотоверхий полис,
Что, как труба, в легендах прогремит.

2.

Наверное, и в давних детских снах
Печальные и странные ацтеки
Тебе являлись, опуская веки
На гордых затуманенных очах.

И видел ты сквозь мглу, тревогу, страх,
Как идолов оскаленные лики
Корёжились в огне, как слёзы-блики
Златились на узорчатых щеках.

И вот коня ты придержал в раздумье
Об изумруднопёром Монтесуме.
Неужто его царство — только сон,

Что отпылает и исчезнет с дымом,
И будет лишь цветком неповторимым
Цвести в столетях — сельвы тайный трон?

Павло Тычина

(1891—1967)

* * *

Не верьте, люди снегу,
Холодной чистоте:
Краса его бездушна
Без страсти и огня.

Укроет, словно мехом,
Он травы и цветы;
Не дам, не дам цвести вам,
Влюблён я в долгий сон.

Живой земли живые,
Вы вспомните весну,
Лазури ясной бури,
Шум цвета и травы.

Ах, небу голубому,
Ах, золотым ветрам —
Поверьте, люди — солнцу
И музыке его!

1916—1917

* * *

Не Зевс, не Пан, не Голубь-Дух,
А только Солнц Кларнеты.
И в танце я, всем ритмам друг,
В бессмертье — все планеты.

Я был не Я. Мечта и Сон.
И колоколен звуки,
И творческой судьбы хитон,
И благовеста руки.

Проснулся Я — и я есмь Ты:
И над, и подо мною
Горят миры, бегут светы
Певучею рекою.

Следил я сквозь веков напев:
Аккордились планеты.
И я узнал, что Ты не Гнев —
А только Солнц Кларнеты.

1918

* * *

И Белый, и Блок, и Есенин, и Клюев:
Россия, Россия, Россия моя!
...Стоит сто-растерзанный Киев
И двести раз распятый я...

Там солнце повсюду! — поют там: Мессия! —
Туманы, долины, раскисший большак...

Воздвигнет Украина вождя Моисея, —
Не может быть так!

Не может так быть, и, я чую, я знаю,
Под хохот и бурю восстаний и бед
От всех своих нервов я в степь посылаю —
Восстань же, поэт!

Восстал чернозём и глядит прямо в очи,
И кривит лицо в окровавленный смех.
В любви к Украине поэт беспорочен —
Навек и для всех!

1919

Павло Филипович

(1891—1937)

* * *

Минула ночь тревожно и бесславно,
Врагов на поле — как на небе звёзд.
Взойдётся ли, моя лебедь, Ярославна,
На тёмный вал отчаянья и слёз?

И мечет ветер стрелы неустанно,
И солнце с неба льёт пьянящий зной.
И кличу я, — из плена басурмана, —
Тебя, неразделимую со мной.

Но лишь Кончак красой дочерней нежной
Играет и сулит измену мне.
И чёрной страстью, пагубной и грешной,
Чужой напев теснит мне грудь во сне.

* * *

Долу склоняется гневно
Жаркого солнца глава.
Нежный цветок, Бондаревна,
Стынет, бела и мертва.

Тучи сбиваются в стаю,
Стонет неволя людей:
Хватит собачьего лая,
Власти твоей, лиходей!

Чёрное шепчется жито,
Ветер стучится в окно:
Ой, будет лито да пито,
Будет, ой будет вино!..

Михайль Семенко

(1892—1937)

ЗАПЛЕТИ КОСУ ПОКРЕПЧЕ

Я на страданье тебя веду —
на медленное сгорание.
Взорвёмся же на прощанье —
Так написано на роду.

Может, огня ярче не видел никто,
чем болид нашей встречи.
Заплети косу покрепче.
Застегни пальто...

7.5.1917. Владивосток

ГОРА ЖЁЛТЫХ ЛИЛИЙ

Скажи — ты не забыла Гору Жёлтых Лилий,
Зелёную до боли полонину?
Когда, за поэтичнейшей из идилий,
Клялись мы любить до самой кончины?

Солнце, солнце, бухты, бухточки, дали —
Мы целый мир тогда в себя вместили!

И лилии — огромные, жёлтые, безумные — собирали,
И всё прошлое, всё будущее — забыли, забыли.

27.6.1917. Владивосток

ОГОНЬКИ ПО ВСЕЙ БУХТЕ

Катер даёт третий гудок —
Блестящий, изысканный катер.
Лунной ночью мы оставляем Владивосток
И движемся туда, где темнеет кратер.

Огоньки по всей бухте вместе и врозь,
Вода шумит, волны бегут мимо.
В нашем сердце, правда, нету слёз,
Любимая?

Город, город в огнях остаётся сзади.
Море блестит, тени взгляд ласкают.
Милая — чему мы рады,
Чего сердце чаёт?

30.6.1917. Владивосток

ПАТАГОНИЯ

Я не умру от смерти — я тот,
Кто погибнет только от жизни.
Стану умирать — и жизнь замрёт,
и стяги её повисли.

Я молодым, молодым умру —
Меня ли состарят битвы?
Оставь, оставь траурную игру.
Рассыпь похоронные ритмы.

Я умру, умру в Патагонии дикой,
среди огненной земли снов.
Родня моя, не услышу вашего крика.
Я — ничей, поэт мировых слов.

Я умру в минуту, когда природа стихнет,
Под последней воробьиной ночи блеск.
Умру в паузе, когда сердце мне стиснет
Моей жизни, молодости и силы всплеск.

30.6.1917. Владивосток

ТЁРЕН

С. Гуляеву

На скале безъязыкой я.
Внизу маневрирует поезд.
Между гор змеится колея.
Наклонилась неба высота.

Спит залив, наморщив брови.
У края мола колышет шаланды.
Солнце заходит без условий —
В красном галстуке, галантно.

Свет блеснул. И сразу погас.
Дым мастерских шоколадно-чёрен.

Во мне — бесконечность синих фраз
О той, чьи глазища — тёрен.

2—15.8.1917. Владивосток

СТИШОК РАЗОЧАРОВАНИЯ

Я разочарован своим смычком.
И потом — мне не хватает нот.
Я опоздал и копаю в своём уголке,
Я копаю и уже для мечты своей — мёртв.

Что из того, что я движусь вдоль Крейцера?
В будущем — сентиментальный, нудный дилетант.
Судьба мою виолину разбивает до вечера.
Опередило время мой талант.

8.11.1916. Владивосток

ПО ДОРОГЕ РАЗДОРОВ

Вчера свидание мы разорвали
«На старом месте» у высокой горы.
Я отобрал письма и книги,
на прощание мы ничего не сказали —
И расстались в первые дни апрельской поры.
Возвращался один по пути раздоров.
Над ручьём минуту постоял,
где разорванные листки плыли.
Всё случилось так, словно в чайник попал мой норов,
И по телу моему пробежали автомобили.

3.4.1917. Владивосток

РЕПЛИКА

Хочется сказки. Хочется тишины.
Криками, трубачами измождён мозг.
Сердце еле дышит в перепадах весны,
Словно ему дали сотню розг.

Хочется дальше. Ну хоть в Австралию.
Выберу на карте одиночество острова.
Переброшу с собой веков вакханалию
И мою поэзию острую.

Красные пятна на зелёном фоне.
Чую, быть мне знатным эпиком!
...Зачем, зачем ухватили вы в граммофоне
Мою безумную реплику?..

7.4.1917

ГОРОДСКОЙ САД

Буду ходить в городской сад.
Там кабаре и фарс.
Люблю, когда в душу проскользнёт гад —
Тогда там много фраз.

Ха. Сбоку красный круг карусели
Среди общипанных заплёванных кустиков.
Хрипит катеринка, и пьяные трели,
словно стая весёлых маленьких цуциков.

На веранде струнный квартет.
Я — поэт.

23.4.1917. Владивосток

ТУМАН ВЫПЛЫВАЛ

Мистерия

Отозвались струны легчайшим гомоном.
Усмехнулись струны потухшими болями.
Ещё теплился звук, уже смятым и сломанным.
И дрожали нервы нитками голыми.

Туман выплывал из-за гор, тронутых жутью.
Багровел закат фоном адской мистерии.
Никли деревья, согнуты мизерной сутью.
Буре, Великой, Тайной Буре открывайте двери.

23.4.1917. Владивосток

Майк Йогансен

(1895—1937)

* * *

Дни мои, дивные дети,
Я отдал вас вольной воле.
Вы, как вино, как ветер,
Как поезд по дикому полю.

Вон: тучи легли переспелые,
И смолкли боры покаянно.
Дни мои, первые смелые
Корабли во вражьи страны.

1921

ПОЭЗИЯ

Мы родили с тобой столько слов!
Ими можно заселить все луны на свете.
Мы выносили столько, столько синих снов,
На всех планетах играют наши дети.

Мы с тобой переплыли все моря,
Все заливы в тихоокеане.

Месяц, оком шакальим горя,
Зыбким отблеском скользил по лиане.

Это ж мы горбились на рисовых полях,
Нас нагайками били белые люди.
Все раны мира — на твоих руках.
Все боли и гнев — я вдохнул своей грудью.

Это ж мы на последней встанем баррикаде,
Это ж ты последнего застрелишь короля —
Единенья большого всемирного ради.
И ты умрёшь, подруженька моя.

1929

Максим Рыльский

(1895—1964)

БОДЛЕР

В раю блаженных мук, там, где на стебле дивном
Губительно горят цветы-химеры зла,
Подобные очам и женским, и звериным, —
В Эдеме адских грёз душа его жила.

Пугая буржуа, назваться лютым орком,
Привыкшим поедать беспомощных детей;
И упиваться мёдом тонким, горьким
Несбыточных надежд и неживых идей, —

И находить в вине замызганной таверны
Вино Причастия, святую кровь Христа...
Не эта ль жизнь его, отвратна и химерна,
Зовётся: красота?

1920

СОНЕТ СКУКИ И ЖЕЛАНЬЯ

Беда, когда наскучишь сам себе.
Не горечь яда — кислота цитрины

и не оркестр в пыланье и борьбе,
а жалкий звук фальшивой мандолины.

Огонь ушёл и только дым чадит.
Остатки бури — складки жёлтой пены.
туманом едким горизонт закрыт,
а из болота — кваканья рефрены.

Хотя бы вызов гордого чела,
хотя б Кармен прельстительно прошла,
и зазвенели пьяно кастаньеты!

Хотя бы чарок иль пороков ряд,
хотя бы в золочёном перстне яд
или удар весёлого стилета!

1920

* * *

Запахла осень вялым табаком
И яблоками в воздухе туманном,
И астрами, что над песком румяным
Свежо сияют за твоим окном.

В траве кузнечик, на подпите гном,
Всё скрипку пилит. И зачем весна нам,
Когда с годами мы мудрее станем
И тишь виски покроет серебром?

Возьми суму и дом родной покинь,
И молча пей глубин холодных синь,
На взлесьях, где медово спеют дыни!

Наполнись чистотой и простотой
И, на ковёр ступая золотой,
Забудь о башнях сумрачной гордыни.

1925

ТРУД

Люби свой виноград и заступ звонкий свой.
Народы, царства мрут, века идут чредой,
И там, где чабаны пасли стада спокойно,
Восходят города, вскипают кровью войны,
Мяётся в вечной схватке смертный люд!
Но знай, что только тут, где неустанный труд
Взбухающей земли девичье лоно ранит,
Поспеют ягоды и радость солнцем встанет.

1929

* * *

Распустились сады, отцвели,
Лето в мягкой постели лежит.
Тучи небо и степь облегли.
Дождь в листве, как бывшее, шумит.

А вчера ты мне руку дала,
Показалось мне: лилии цвет...
Минул день, я забыл твой привет.
Туча душу мою облегла.

* * *

Ласточки летают, им летается,
И Ганнуся любит, ей пора...
И волной зелёною вздымается
Средь весны Батыева гора.

Светят липы нежными княгинями.
Блещет в туче голубь серебром.
В синекрылом взлёте всё покинем мы.
День ещё — и в небе поплывём.

Пусть себе кружит, пускай вращается,
Хоть вокруг свечи, земля-сестра!
Ласточки летают, им летается,
И Ганнуся плачет, ей пора...

1926

Евген Маланюк

(1897—1968)

* * *

1.

Знаю — солнечным мёдом, Лада,
В твоём древнем теле весна.
О, Степная моя Эллада,
Ты и ныне — антично-ясна.

Сквозь пространства, сквозь мрак урагана
Вижу лик твой, скорбя и любя.
Словно конница хищного хана,
Синь степная пленила тебя.

Средь вишнёвого пенного сада
Где-то в вешнем вздыхаешь чаду.
А душе ты — лазури прохлады
В золотистом воздушном меду.

А душе ты — фата моргана
На песках эмигрантских сахар —
Всей земной красотой несказанной
Нам, немудрым, — напрасный дар!

2.

Навеки разорвали руки.
И даль пустынная легла
Холодной вечностью разлуки,
Степями морока и зла.

Вот цветом вишни, вешней песней
Опять сменяется метель,
Но вновь на жгучий зов «воскресни!»
Года лишь отдаляют цель.

И гасит вновь надежды пламя
Слепая, без просвета, твердь.
И перед нами, и за нами
Молчанье полнится и смерть.

3.

Хотя б на миг один, священный, —
Всей грудью вечности вдохнуть,
И радость вспыхнет над изменой,
И солнце смоем тьму и муть.

Пушай уж — бой и буря. Тленья
Душе безмолвно не стерпеть!
Пусть снова — тяжкий крест прощенья,
Горбы Голгоф, распятий твердь.

1925

ВАРЯЖСКАЯ ВЕСНА**1.**

Обычный день Так что ж во мне отрада
Всё явней оживает, всё ясней?
И вспоминаю — Леда... Леди... Лада... —
И имя всё ищу моей весне.

Стать гордая и солнечные косы.
А под варяжским золотом косы
Девичий взор горит светло и просто
Сияньем снежным северной красы.

И не идёт она, парит крылато.
И стройность ног являет лёгкий бег.
Сквозь синий воздух — свежесть аромата,
И вновь цветёт подснежниками снег.

2.

Она — скандинавка. В походке — дыхание фиорда.
Она — от варягов, будивших дремотную Русь.
И шаг её — сталь. И движенье — надёжно и гордо.
И в синих глазах узнаю я по крови сестру.

Как лыжи поют! Как румянятся розами лица!
Как остро и стройно звенит в её поступи Григ!
В широких очах ключевая водица искрится,
В устах лепестковых — малиновой радости крик.

Светись же, сияй, зарева варяжская Лада!
Эллада Днепровская ждёт уже тысячу лет.

Да будет тобой вдохновенна извечная правда
На древней одетой снегами бескрайней земле.

1927

ИЗ «ЧЁРНОЙ ЭЛЛАДЫ»

1.

Руина. И фатум чумы и холеры.
Навек. Навсегда. Поколеньям вдогон.
Ни смысла, ни меры. Ни проблеска веры
На клятой земле, где ты трижды казнён.

Убогие, жалко согбенные хаты,
Барочный дрожит на ветру завиток,
Княгиня в Путивле — в стенаньях утраты,
И небу угрозы бросает пророк.

Ветрам и векам на потребу — руина.
Измена к измене, беда на беде.
Нет-нет, не Христос, не Христос, Украина, —
Преступник Варавва хрипит на кресте!

1929

2.

Памяти Петлюры

Шли в распутицу, мимо погоста.
За плечами хрипел Батый.

Прокажённой дороги короста
Отражала ордынцев следы.

И простор — без надежды, без воли,
Молчаливый, враждебный — минал,
И мороз на теле Подолья
Под копытом скреплял письма.

1926

СОНЕТ ГНЕВА И ПОЗОРА

Калека проклятый — таков он и доныне!
Слепой кобзарь — весь вечная печаль.
Самсоном тёмным — сокрушил святыни.
Разбил, дурак, синайскую скрижаль.

И наплодил вождей — плебеев, шваль
Блошиных душ в слюне и паутине, —
Теперь, когда рокошет Муссолини,
И жжёт очами бронзовый Кемаль,

Теперь, когда вокруг отважных звенья,
И в каждом из народов зреет гений,
История готовит новый том,

Тюфяк хохол, что, хоть дурной, а хитрый,
Лишь по ветру склоняется макитрой,
Желудком судит и храпит гуртом.

В лагере интернированных, 1921.

* * *

Ave Caesar, август певучий,
августейший властитель лет!
На плодов твоих терпких тучи,
На всю землю сквозь полдень жгучий
ослепительный льётся свет.

Ave Caesar, твой день сияет —
рощ колонны, форум лугов.
Рим твой синь и лазурь вдыхает
и сквозь дымку времён оживляет
пантеон плодовых богов.

Ave Caesar, застывший на троне
Миф и стёртый на мраморе след!
Снова солнце играет в короне,
А виски стынут сталью на склоне
Опалённых историей лет.

ЗИМА

Ты, как сестра, ко мне приходишь вновь
Вслед за наркозом позднего тумана.
Эфиром смыта ссохшаяся кровь,
И снег твой, марлей, охлаждает рану.

И целый свет твой бел, как лазарет
Для воина, что еле выжил в битве,
Что чует всю печаль посмертных лет
И всё дыханье отдаёт молитве.

ИЗ ВАГОНА

Разлукою, до небосклона,
Горчит вино чужой весны —
Мелькайте, за окном вагона,
Чужбины радужные сны!
Вам не унять сияньем влаги
Неодолимой жажды страсть.
Ни ненависти, ни отваги
Уже у сердца не украсть.
Оно голодным воет волком,
Ему пустыня — вся земля...
И даль напрасно синим соком
Пьянит луга, поит поля.

1938

ЭХО

Еле доносится гул —
Крики голодных хазар...

Где-то синеет Ингул,
Стылый осенний пожар.

Где-то за стуком колёс —
Шпола-Цветково-Тальня.
Там, где за дымкой, без слёз,
Вотчина помнит меня.

Стынет синюшно вода,
Пустошь, где сад был и дом.
Сердце моё навсегда
Там, на ветру молодом.

Что ж, не судилось. Уймись,
Горькая в горле слеза.

Прянут в пустынную высь
Клики голодных хазар.

1942

ГОРОДА МИНУВШИХ ДНЕЙ

5.

Посмертный день среди руин змеится
Могильным гадом. Юркнет и конец.
А ей всё то же понапрасну снится,
стране до камня высохших сердец.

Всё снятся ей величье, мощь и слава
и пышность слов, и почестей оплот.
Ей невдомёк, что этот сон державы,
как некий призрак мщенья, промелькнёт.

И станет явной суть неумолимо
Гербов щербатых, сломанных колонн.
Посмертный день растает. И незримо
исчезнет в тишине последний сон.

1933

ОТЕЧЕСТВО

Так отважный разгон к белопенно-сапфирному Понту
остановлен предательским жалом степного ножа.
Так врезается Азия в жёлтый провал горизонта,
и стирается абрис земли, и сникает межа.

Проревели пороги — и княжеский корень подломлен,
катит по полю ветер безродно-сухие кусты.
Но волнистый понтийский простор бесконечно приволен,
и лазурною аркой очерчен завет красоты.

Там улыбчив живительный мрамор под ветками лавра,
и колонны, как белые сосны, встают до небес.
Там душа моя солнцем Эллады сегодня и завтра,
и навеки согрета. И Скифии морок исчез.

Оттого и смертельный напор, и порыв неустанный,
и бесстрашие, и жажда, что к цели несут сквозь века.
Безголовая Нике овееяна славою бранной,
и несломлены крылья, и верой правица крепка.

ПАМЯТИ ЙОЛАНЫ КАРДОШ

Акации цветут — хмельной мадьярский вечер —
О, амбра страсти той, что, словно месть, сладка!
Акации цветут. И пьяный душный ветер —
В дыханье губ твоих и в прядке у виска.

Акации шумят — куда от них подеться?
Вся улица в цвету. Вся улица, как сад.
И в буре лепестков уже не в силах сердце
Пить смерти и страстей пекучий аромат.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Не забыть мне, как властно, как ладно
Ты вела лабиринтом любви,
Ариадна моя, Ариадна!
Снова в лето твоё позови.

И когда бы не смуглые руки,
Не очей твоих вечных сапфир,
Не бровей твоих тонкие луки,
Стал ещё бы безжалостней мир.

И без нити твоей золотистой
Я бы сгинул во тьме и ослеп.
Лебединая плавность, монисто.
И душистая память, как хлеб.

1944

ГОРЬКАЯ ВЕСНА

Ich hab» mein Herz
In Heidelberg verloren*
студенческая песня

1

Так зреет тягостно весна —
Дождями, смутю тумана.
Как яд несбывшегося сна.
Соцветья ночи дышат пьяно.

* Я оставил своё сердце
в Гейдельберге (нем.)

Как склянка неживой воды,
День этот, трезвый и греховный.
И нету сил. Но жди, но жди —
Родится полдень, солнцем полный.

И засияет синью высь,
Река блеснёт в ожившем свете.
Найди лишь силы: помолись
Навстречу злу и лихолетью.

2

Здесь не встретишь руин. Здешним склонам и долам
Не досталось войны. Горы спрятали жизнь.
Старый Гейдельберг грезит о прошлом весёлом,
Безвозвратно умчавшемся ввысь.

Вот и мы повторяем и юность, и радость.
Вот и мы заблудились в былом дорогом.
И те ночи и дни, что изменам достались,
Стали грёзой и выпитым сном.

3

День потемнел. И радость исчезает,
Хоть над Неккаром брезжит майский свет.
Ритмично вёсла воду загребают,
И плещут волны... А весны — всё нет.

Вспорхнула птица и во мгле тумана
Исчезла. И опять — ни ветерка.
Плывёт река, бездушна, неустанна,
Плывут века, бездушны, как река.

* * *

Уже кленовой кровью раны
Забрезжили в сентябрьском дне.
Сквозь тусклость раннего тумана
Клонится лес, от солнца пьяный,
И угасает в полусне.

Под синью гулко го фаянса
Мерцает паутины сон,
И полнится блаженство транса.
«Железной первой ночью» Гамсун
Звучит закату в унисон.

* * *

Не нужно мудрости — она тиранит синь,
Стирает даль и краски поглощает,
Подобно кислоте, съедает цвет красы
И запахи крадёт. И красота — сникает.

Не нужно. Августовский солнца блик —
Живителен. И он, как зов Предтечи,
Струит огонь и окрыляет плечи,
Дабы взлететь — хотя б на краткий миг.

* * *

Сыну

Уже почти привык, что мне досталась
Разлука с домом, что за годом год —

Всё горше, всё смертельнее усталость.
Что век мой, горбясь, под уклон идёт.

Уходят сутки, новый день рождая.
Его зенит не я увижу — ты.
Крут сужен. Лишь полоска огневая
Осталась от небесной высоты.

И солнце опускается багряно
За ту черту, в холодный океан...
Не я, но ты произнесёшь «Осанна»,
Иного дня, иных людей пеан.

ПАМЯТИ Т. ОСЬМАЧКИ

Прости — я не приду. Пусть с высоты
Лишь чёрный ворон крикнет, хрипло плача,
Что в землю лёг неповторимый ты,
Осьмаче-символ, Вий, от мук незрячий.

Нет, не увязнет в холоде чужбин,
В бездушие глин твой пепел, жар сакральный.
Ведь правнук, что всей сутью — снова сын,
Перенесёт домой твой прах опальный.

Посадит дуб. И в мае над тобой
Опять взойдёт чабрец благоуханно.
И будет Днепр светиться синевой,
А в Киеве опять шуметь каштаны.

* * *

Бледнеет Апокалипсиса зверь,
Стирается, сникает чёрный абрис.
Час предрассветный — щебень бывших вер,
Дух пустоши и полумёртвый пафос.

Ещё чуть-чуть — и в резком свете дня
Предстанут в наготе бесстыдно-смело
Безликость масок и страстей возня,
И ложность обескрыленного тела.

И ты себе назначишь лишь одно —
Собрав все силы в узел, сбросить узы.
И превратится снова кровь в вино,
А шум и хаос — в вещей голос Музы.

N.N.

Между нами — пространство и темень,
И на разных мы клятвах стоим:
Вы в нарцисс влюблены, я же — в кремь,
Вам — Эллада, а мне — только Рим.

Где-то дали, моря, океаны,
Счастье вольных ветров наяву.
Только я, только я, окаянный,
Неотступной тревогой живу.

Вам — весь мир ярко-синий без края,
Ну, а мне — воспалённый вулкан,
Эхо, гул, где, дрожа и пылая,
Степь казнящая гибнет от ран.

ARS POETICA

Юлиану Тувиму

3.

Вечно сжатый в пружину и хмурый,
В миг улыбки к тревоге готов,
Morituri литературы,
Гладиатор безжалостных слов.

Вечно — чернь и жестокость арены,
Вечно — падая, снова встаю.
И язвят своры взоров надменно
Иссечённую душу мою.

Так горю, ибо неодолимо
Входят в кровь мою через века
Заклинанья кандалников Рима —
И варяга, и казака.

5.

Эллады сыны и сыны Иудей,
Враждой разделённые дети земли
Крестом и железом и ядом идеи
Возводят и рушат все Римы, Кремли.

От греков и римлян, провинций, колоний
Гремели столетья меча и огня,
И к Богу вздымая бессильно ладони,
Молили напрасно великого дня.

И месть не жалела ни крови, ни яда,
И дымом руин упивались ветра.

Два лютых врага — Иудея, Эллада
От Тибра и Рейна и вплоть до Днепра.

И я средь чужих в нестихающей скорби,
И ты (на всём мире — чужбины печать)
Даруем всю боль свою *urbi et orbi*,
И выси в ответ продолжают молчать.

ДУМЫ

Всё сломалось. Уже не прощу и не склею.
Вяло тянутся донными рыбами дни.
Лишь квадрат синевы над провалом Бродвея.
Волны камня и стали. Бессонниц огни.

Мёртвый идол явился железной машиной,
Обезьяной и роботом, скрежетом зла.
Как посмею забыть о далёкой Единой?
Как живую порву пуповину узла?

Будут годы хромать, и змеиться дорога,
Будут взрывами полниться проклятый век.
Будешь видеть, как вновь — без Природы, без Бога —
Возвращается в прах человек.

* * *

Рассвет высок. Ещё земля прохладна,
От сочного куста чуть веет хмель.
И невесомы светотени пятна.
Обломки скал и утра акварель.

Проснись. Опять до боли всё знакомо:
И Сугоклея, и сухой Ингул.
Искрят береговых гранитов сломы,
И вдоль долины ровен ветра гул...

Ещё в начале осень — не черница,
Но золотая память о весне,
Ещё она — догадка, та, что снится
В анабиозе, в разноцветном сне

* * *

3.Р

Октябрь желтеет. Солнце сонным ходом
Снижается. И оставляет круг.
Опять, вослед минувшим всем невзгодам,
Наш вечер начинается. Как друг,

Как верный друг, а не случайность-милость,
Вы появились отблеском весны,
Чтоб вновь всё то, что под уклон катилось,
Остановить. И длить былые сны.

Евген Плужник

(1898—1936)

* * *

Я — как и все. И штаны — полотно.
И сердце моё — наган.
Видел я жизни последнее дно
Сотнями ран.

Всё! И не нужно напрасных слов! —
Правда молчанья — верней.
Встанет посев и взойдёт покров
Над тишиною дней!

Вот и не нужно газетных фраз!
— Боль с каждым днём сильней.
Молча поднимется новый Тарас
Среди кровавых полей!

1925

* * *

Над морем на скале, на нерушимых кручах,
На мёртвом стебле радужным цветком,

Горит огонь, чтоб средь валов кипучих
сумел найти корабль свой дом.

Бывает так: уже надежды нету —
И не уйти из топкой тьмы никак!
Но вдруг на волнах полосой света,
Ещё незримый, вновь блеснёт маяк.

И луч его туман развеет вскоре.
И, жадным взором прикипев к земле,
Идёт корабль опасной зыбью моря,
В зловещей исчеза мгле.

* * *

Гляди — внизу и море, и сады.
А здесь, на скалах, — только голый камень.
И здесь земной коры застывший пламень
Ещё ничьи не тронули следы.

Благоговей! Вглядись в ранимый свет!
Здесь лишний звук, неловкое усилие —
Засыплют тотчас твой случайный след
Летучей, словно время, вечной пылью.

И будет мир таким, как он был
Всегда. Молчит гранит, зернистый, жаркий.
Не сыщешь и окурка-недогарка,
Который ты на камне позабыл.

* * *

Молчи! Молчи! Я знаю, за словами
Холодный сад, деревьев череда...
То наша страсть темнеет между нами,
нас разлучая ныне навсегда.

Шалей, шалей, в отчаянье, в бессилье!
Что эта боль?! Она внутри пуста!
...Как поздно мы сердца остановили,
Разъединив навек свои уста!

О, друг мой! Изойду последней силой
В фантоме том, в пустеющей ночи,
Где образ твой, утраченный и милый,
Где голос твой... Молчи! Молчи! Молчи!

* * *

Вошла, сияя, в море. Кто она —
Ответа и доныне не постичь ей...
...И разве все мы — не единство сна
В быстротекущем и пустом различье?

Ленивый жест, — и вот под ноги лёг
Прозрачный венчик — сброшена накидка,
И на высоком стебле стройных ног
Цветок зажётся тяжкой полной квиткой —
Спокойный торс, нетронута-нагой!

Спадает вал... Немеют берега...
И снова плеск... И затихает снова...

Стоит она, властительно нага
над усмирённой бездной бирюзовой.

И лоно простирает ей своё
Величье вод, что всем ветрам открыто, —
И кажется, уходит Афродита
В тот белый шум, что породил её!

Владимир Сосюра

(1898—1965)

* * *

Ты, будто бы магнит, ты притяженье света,
Раба и властелин, моя и не моя.
Пылинкою стальной тянусь к тебе, и нету,
Нет сил, чтобы тебя отринуть от меня.

Любовь, завет веков! Загадка априори,
Чья бездна-глубина темна, страшна для всех.
Вот подойдёшь ты вновь — и тонет взор во взоре,
И горло сухо рвёт желанья хриплый смех.

А перед тем, за миг, я клял тебя за муки,
За сине-вороной зрачок твой, рвущий грудь...
И что ж вздыхаю я так глубоко и глухо,
Печальных жадных рук не в силах разомкнуть?

1940

ТРОЕ

Ты в зелёном платье проходила мимо,
Глянула — и гулко зашумела кровь,

И запело сердце, к милой полетело —
Рассказать несмело про мою любовь.

И от той минуты в круговерти жизни
Общую тропую мы идём давно.
Очи, сини, кари, как два сердца в паре,
Струны на гитаре, светлое окно.

Струны мои, струны, вы звените юно,
Разливайте эхо над разгоном рек.
Очи, кари, сини, солнце-очи сына,
Три души, едино слитые навек.

1940

* * *

Так тихо вверху надо мною...
Небесный заснул океан.
Подсвечен зарёй голубою,
В луга протянулся туман.

Смиренного вечера чары.
Янтарь догорает в траве.
И тучи, как овцы отары,
Белы — голова к голове.

И аист внимательным оком
Глядит, поднявшись над гнездом.
То щёлкнул над бором далёким
Небесный чабан батогом.

1955

* * *

Растаяли в бездне, в пучине
Лета, золотые лета...
Но, словно фиалки, доныне
Душисты любимой уста.

И лет тех минувших не жалко,
Что вдаль унеслись, как вода,
Ведь светят мне очи-фиалки,
Ведь ты для меня — молода.

Марко Вороний

(1904—1937)

СЛОВО

Сгустилась ночи тёмная прохлада,
Во влажной тишине молчат сады.
И падают беззвучно в ток воды
Листвы, веков, созвездий мириады.

Шагов не услышать во тьме глубокой,
Теряются в безмолвии следы...
Над сном отгомонившей суеты
Восходит взор Господний многоокий.

Так жизнь, словно минуту, проживём,
Калейдоскоп страстей об окоём,
Расколется, о тайну чёрной ночи.

Одно пребудет в хаосе разлук:
В час нежности распахнутые очи
И Слово, порожденье сладких мук.

1926

ВИДЕНИЕ

Я высь глядел. Воздушная струя
Ласкала золотые тучи мирно...
Вдруг показалось — в грохоте надмирном
Высь дрогнула и сотряслась земля.

Безумного огня взвилась змея,
Пылала сфера. Призраки средь жара
Дробились и опять сходились в пары...
И трескалась от зноя плоть моя.

И я увидел: шар Земли, сверкая,
Летел сквозь пламя адского раздвая
В неисчислимом множестве планет.

И всё сгорело в том огне свободы:
Лишь солнца круг глядел в немые воды,
Лишь диски лун — медяшками монет.

1926

Олена Телига

(1906—1942)

СОВРЕМЕННОКАМ

«Не надо слов. Пусть будет только дело.
Лишь им живи — в спокойствии суровом.
Не впутывай души в горячку тела.
И боль свою не выдавай ни словом».

Но для меня живут в святом союзе
Душа и тело, счастье с чувством боли.
И боль звенит. Зато, когда смеюсь я,
И смех мой рвётся, как родник, на волю.

Слов не тая, дарю без меры нежность.
Но дух мой должен оставаться сильным:
Отвагою пылать в метели снежной
И омываться под холодным ливнем.

Высоким солнцем Бог мой путь пометил.
Но там, где бой, я к стойкости готова.
О, Родина, твой образ в сердце светел.
И нет врагу прощенья ни полслова.

* * *

Вновь глаза мои в тьму раскрыты,
И часы бьют: четыре, пять.
Столько, сердце, тобой пережито,
Что опять не смогу я спать.

Но с утра я спокойно встану
Без заметных на глаз перемен.
И, как в танце, пойду неустанно
Через жизнь, напевая катрен.

Глубже спрячу тревог приметы.
Путь мой к радости — звонок и смел.
Только тот и достоин победы,
Кто сквозь боль улыбаться сумел!

* * *

Моя душа и в хмеле тёмном
Не слышит праведных тирад
И в вызове неутомном
Бежит под ливень и под град.

Чтоб, спрятав мудрости советы
В шкатулку без ключа и дна,
Встречать бесцветные рассветы
Багряным пламенем вина.

Чтоб вере собственной упорной
Светить лампадою сквозь тьму,
Идя сквозь ночь, сквозь ливень чёрный,
Сквозь боль — к прозрению своему.

Василь Мысык

(1907—1983)

РУДАКИ

Старик-платан раскинул веток сети,
укрывшись от жары в тени горы.
И что ему, что стены Бухары
разрушены таранами столетий,

что пылью стал гранит, сойдя на нет,
что всех великих забрала могила,
и что ему камней гремучих сила,
несущихся с горы в потоке лет!

Давно засохли клёны, ивы сгнили,
и выдохлось давно вино в бутылки,
а он, как встал, так и теперь стоит,

готовый защитить от бурь и горя,
доказывая, что в земном просторе
есть нечто, непреклонней, чем гранит.

ХАФИЗ

«Так ответь же мне, Хафиз речистый,
чей напев звучит прозрачно-чисто,
как за мушку на щеке у панны
даришь ты легко, как два монаста,
Бухару и Самарканд искристый,
коими владеют только ханы?

Как же так, скажи, мудрец певучий,
что, когда в глазах любимой тучи,
Туркестан накрыт грозой до края,
а едва встряхнёт она кудрями,
тотчас задрожат, как сад ветвями,
поданные в Индии, в Китае?»

«Мы, поэты, кровь не проливаем,
покоряя словом край за краем,
а в сердцах у нас простор такой,
что вмещает, кроме Туркестана,
пыль Китая, джунгли Индостана,
мир, плывущий звёздною рекой.»

РИМ

Для чего на римском пьедестале
так ретиво кони дыбом встали,
натянув поводья, словно струны?

Может, чтоб народ склонялся ниже?
Может, чтоб над ним вздымался выше
подбородок Цезаря чугунный?

СПАРТА

О, сколько их! Напряжены тела
в борьбе и в беге, в жарком состязанье!
И выкрики хвалы и порицанья
толпы, что тесным кругом обвела,

захвачена отвагой их игры,
большую площадь в солнечном сиянье,
арену, от которой видно грани
вершин Тайгетских в мареве жары.

Тиртей воспел их, это спартиаты.
За их игрой следит плугарь-илот
из зарослей, где задремал Эрот,
из-под навеса хмурой чёрной хаты.

Один бы он назвал, когда б сумел,
жестокость цели их блестящих дел.

КИТС

И кто назначил, небо, меру муки
его живой душе? Зачем дала
судьба ей два звенящие крыла,
не дав простора? И зачем разлуки

его любовь, шипами изодрав,
кровавили? Любовь к пустой девице
и к матери, стране жестоколицей,
хозяйке обезлюдевших дубрав?

О, Англия! Чужая, как темница
с решётками, что распинаят свет!
Где ни любви, ни дружбы больше нет,

а всяк спешит пред шиллингом склониться!
Но как тосклив ночной чужбины бред,
когда она со сне предсмертном снится!

ОСЕНЬ

От всех амбаров на одно кольцо
собрав ключи, она, хозяйкой строгой,
придирчиво глядит тебе в лицо
со своего богатого порога.

И не вези ей с плевелом зерна,
её не сбить со счёта: сор и жито —
всё на свои весы кладёт она,
и только то даёт, что заслужил ты.

Олег Ольжич

(1907—1944)

* * *

Глухо рухнули храмы, осыпался щебень палат,
И обрушились стены фортеций, и, согнуты вдвое,
Люди в поле бежали, и брата растаптывал брат,
И бескровные лица катились угрюмой толпою.

Изумлённо смотрели мы, зло искривляя уста,
В обречённые очи бастардов Гоморры нечистой,
Виноградарей грубых, купцов, обезьян без хвоста,
Полководцев и консулов с душами канцеляриста.

В небе тучи рвались, словно мутно клубилась река,
Ветер с юга сгибал до предела нагие осины.
И почуяли все мы, как пламенем Божья рука
Нам на лбы возлегла и на стяги с эмблемой львиной.

1937

* * *

Синеет очей ключевая вода,
И зорек прицел твой сквозь дали.

И даже любовь твоя будет тверда,
Как бронза, рубин и эмали.

Она не введёт тебя в солнечный сад,
Где смоквами ветви обильны.
Ни шага с дороги, ни мысли назад,
Ни мига на месте бессильно.

Над бездной повис поколений пунктир,
И времени лик всё туманней.
Но сам ты — борением созданный мир,
Отвагой вершинных дерзаний.

ОВЦЫ

Чудесными овцами полон закут.
Забиты, несыты, ограду грызут.
И с голодудохнут. А кочет клокочет,
И трупы их — братья голодные топчут.

ПОЛЕСЬЕ

1.

Душно под вечер. Прокурены тесные стены.
Вышел. Вокруг осмотрелся. Снега — всё по пояс.
Солнце кровавится в пуще. Колышутся тени
Зыбко. А голос — как олово, голос.

Где-то идёт Коляда и ступает широко.
Знает — сойдут на поляны счастливые руны.

Станет — и снова над бором к исконному сроку
Гуси натянут в лазури бесчётные струны.

2.

На холмах осиянных сон-зелье уже голубеет.
Выгибается небо от шума сосновых корон.
Здесь преданья над золотом бора ресницами веют,
Здесь мечтатели-люди на слышали слова: закон!

Здесь земля только нежит, пьянит, тяжелеет, рожая,
И над каждою веткой и птицею полдень упруг.
А народы вдали поднимаются, бурю стяжая,
И бряцают оружием тысячи вздыбленных рук.

И не гнётся мой стан в прямоте корабельного бора,
Грудь дыханием полнится, кровь тяжелеет, как мёд,
До поры, когда бросит и нас в буревые просторы
Жажда моря и славы в горячем порыве вперёд.

Олекса Блызько

(1908—1934)

ДЕВЯТАЯ СИМФОНИЯ

(монолог)

Огня, ещё огня! — Любви надмирной!
Пусть кровь вскипает в молодой груди!
Веду тебя, о, мир земной, терновый,
В объятия солнца! Птицей золотой,
С кипучей кровью, облетаю сердцем
Все сто миров — над людом простираю
Безмерность крыльев. — Пусть приходят все
Под их покров, и, если рай не сыщут,
Сольются с адом молодых объятий,
Влюблённой силы, пред которой злоба
Сгорит, распавшись в прах, и сердце зверя,
Что ненасытно выпивало кровь
Из тела брата, — рухнет и не встанет;
Не встанет и вовеки не воскреснет,
Как не воскреснет тот, кто упадёт
В пылающий огнём бездонный кратер
Вулкана грозного — как сердце человека!..
Огня, огня! — Надмирного буяня!
Любви живой, без слов пустых, избитых
Устами евнухов, устами душ,
Упруганных в перчатки, — чтоб не видеть,

Какой там погреб смрадный и отравный.
С червями трупными, с великосветским сором,
Что берегли химерные потомки
Дегенератов с «голубою кровью», —
С надменным гербом, «украшением дома»
И гнилью ран под золотым плащом!..
Огня, ещё огня! — Любви надмирной!

Живой — живущим, мёртвой — мертвецам.
Любви горячей, буйной, как огонь, —
Любви волшебной всех вещей на свете,
Чтоб враз обнять все земли, люд, зверьё,
И солнцем жить, всегда лишь солнцем жить,
Чтоб добывать лишь честным потом счастье
Своим сынам и внукам, и потомкам
Далёких дней!.. Огня, огня, — любви!
Пусть кровь вскипает в жилах молодых!

Веду тебя, о, мир земной, терновый,
В объятья солнца! — И в любовь мою,
Как на огонь, кладу! Да воссияешь,

И бедняка слепого исцелишь,
И ослепишь того, кто выбрал погреб
И множит тьму!..
Любви, огня, огня!!!

1927

ПОРТ

Умчалась кипень дня, как будто шумный катер,
За лязгами цепей угомонилась ржа,

И снова в море день упал за элеватор,
Над бортом золотым — канат из-под ножа.

О, порт вечерний мой, — закатный воздух транса,
Где мысли и душа мятутся, как Бодлер,
Где веет из-за плеч бодрящим ренессансом
И вьётся трубок дым — пахучий канупер.

Люблю твоё лицо и дремлющие стяги,
Неброский твой бетон в орнаменте аркад...
...А где-то, в тон тебе, цветут архипелаги, —
Романтика моя железных эстакад.

Химерно!? Правда!? Да!? А кто измерит норму
Изменчивых сердец, — Их юности не тронь.
Привет тебе, привет... и буре, буре, шторму!
У нас с тобою всё... за тишиной огонь.

1927

РЕЙС

Хохочут и свистят на палубе матросы
(Врезается в бакборт зелёный тяжкий вал),
И берег золотой вдруг падает в провал.
Команда: Поворот! — Крепите тросы!

За тучами пыхтят багрово папиросы.
В безумье шестерён ревёт машины вал.
Опять удары в киль, как бомбы... Интервал...
И воет такелаж в предчувствии угрозы.

Вода, опять вода и волны океана...
А в рубке капитан, склонясь над картой рваной:
Не мёд, не мёд — бурчит — сквозь эту тьму идти!

В скалу бы не влететь, не зацепить бы камни...
И карта, словно пух, порхает под руками,
И бьют валы опять, как гарпуны, в борты.

1930

МАТРОСЫ

Закалённые солнцем, ветрами,
Одолев неизвестность миров,
Доплываем лихими путями
Под заждавшийся кров.

Сердце бросив в штормы и штили,
Мы плюём в лицо сатане,
Отмеряем и тонны, и мили
По кипящей волне.

Нам оружие — кортик точёный
И нацеленный в небо бушприт.
Наше сердце — порт раскалённый,
Где цветёт антрацит.

1930

* * *

Отлетела,
вся в ландышах, Леда
в занесённые снегом гаи,
и медовым цветением лета
поцелуи не пахнут твои.

Вот начало конца,
дорогая,
равнодушная к боли чужой!
Наилучшая рана без края,
память сердца,
побитая ржой.

1930

Иван Вырган

(1908—1975)

* * *

Ранним утром выйду я к кринице
И водой холодной напьюсь.
Поклонюсь заре, своей сестрице,
Солнцу, словно брату поклонюсь.

И пойду в далёкий путь за ними,
Позабыв о суетливом дне,
Ясными дорогами хмельными
По моей весенней стороне.

Обойду всю ширь её без края
И на каждой ниве потружусь,
А потом, душою обмирая,
Вновь к родному берегу вернусь.

И тогда зови меня в светлицы
Для веселья сердца и ума,
Для напевов, звонких, как криницы,
И богатых, как земля сама.

1938

* * *

И что за чудо с нашею вербою?
Ещё вчера под вечер у пруда
По-мёртвому темнела над водою,
А ныне — зелена и молода!

Похоже, что из омута под веткой
Поднялся ночью здешний водяной,
Украсил вербу рясковою сеткой
И вновь с усмешкой скрылся под водой.

ДОЧЕРЯМ

Одну лишь надежду я в сердце лелею,
В тревожном, натруженном сердце своём,
Одной лишь мечтой грозовую пьянею,
Как грезит волюбленной радугой гром:

Как только повеют знамёна живые
Зелёным покоем над маем земли,
Я сразу вернусь к вам, побеги родные,
Вишнёвого шёлка листочки мои!

И вы, заглянув мне в отцовские очи,
Увидите — вновь там, как сад, расцвела
Любовь, что сквозь все беспросветные ночи
Бесценные зёрна надежд пронесла.

1947

Богдан-Игорь Антоныч

(1909—1936)

КРЫШИ

Всё то село, что в ольхах и в лещине,
где крыши пламенеют черепицей,
ты вновь отыщешь в поднебесной сини
и в молодости, в тайне нежнолицей.

Калиновую помнишь ли ты кручу,
где пастухи в кринице солнце поят?
Напишешь повесть: вечера пахучи,
и думы ольх, и крыш багровый пояс.

ПОДКОВЫ

На ста возах весна приедет,
смычком танцуя так и сяк.
Сквозь сито дождь весенний цедит,
и зажигает свечки дьяк.

А мы в дорогу не готовы.
Да, милая, гнедые ждут.
Но пусть нам месяц на подковы
два кузнеца перекуют.

ЧЕРЁМУХА

Дымится черемшина, словно свечка
у набожного вечера в руке.
И лемки, возвращаясь, на крылечко
спешат к своей задумчивой реке.

Страна души, весенних взгорий слово, —
мне не забыть черёмух нипочём,
когда плывёт над нами месяц новый
овсяным калачом!

ОТРЫВОК

Боюсь уснуть без света лампы,
и может стать ещё страшнее.
Опять мне ночь осколком ямба
под сердце входит, пламенея.

Нет, не заснуть. Петух горланит.
И бьют часы, и месяц виснет.
И мозг мне мой же голос ранит
в моей трагической Отчизне.

АЛХИМИК

В убогой келье тесно. Запах серы.
Усохший и, как сера, жёлтый маг
в реторту жадно пялится. И наг,
хохочет бес — багровая химера.

И призраков курящихся полна
сырая келья с грубыми стенами,
и тухлыми дрожащими губами
бормочет маг: «Изыди, сатана!»

Но вскрикнул вдруг старик — нет, он не пьяный,
но видит — блещет золотом реторта.
Под потолок взметнулся хохот чёрта.

И замер монастырь в испуге жутком,
и шепчутся монахи: утром рано
отец Патрикий тронулся рассудком.

МИФ

Как в проарийской книге, в славе —
челны, подкова и стрела.
Серебряная рать в дубраве
слова санскрита сберегла.

Над войском русов — время оно.
Ждут корабли у берегов.
А в небе — звёздные знамёна
и многокрылый взлёт клинков.

Игорь Муратов

(1912—1973)

* * *

Не сердись, не гляди удивлённо,
Если я не теряю сознания,
Замечая внезапные слёзы
На глазах твоих ясных, родная,
Я ведь жил. И доподлинно знаю:
Горе смертное сушит всю влагу
До последней слезинки, а с нею
Навсегда убивает надежду
На росток возрождённого счастья...

Потому-то всегда его жертвы
Гибнут молча. С сухими глазами.

ОБОРОТЕНЬ

Ввалился ко мне оборотень в гости
Представить высшей магии полёт:
Раз! — Коршуном он стал и с хищной злостью
В затылок насмерть голубя клюёт.

Два! — Сам явился голубем небесным
В сиянье белоснежного пера.
А дальше что? — Клубком свернувшись тесным,
Гадюкой стал. — Окончена игра.

Я вырвал жало. Он притих мгновенно.
И только яд кипел в нём неизменно.

* * *

Лопухи расцветают. Не верится?
Лопухи... Неужели цветут?
Те, что зря благородством не меряются,
Продолжая свой жилистый труд.
Их ломало, давило машинами,
Им колёсами мяло хребты.
Но встают. Но цветки лопушиные
Неприметной полны красоты.

Игорь Качуровский

(1918—2013)

ПОЭТ

И нету разницы: тиара иль галера,
что на плечах твоих — лохмотья иль виссон,
и как ты чтил иль преступал закон,
и кто была она — мадонна иль гетера.

Орало ль пахаря, ружьё ли браконьера,
меча и жезла мощь, залитый кровью трон —
не это важно нам. Всё это — миф, химера.
А сущность — лишь стихи и лиры чистый тон.

Хотя ты жмёшься псом к господскому подножью
и мудрствуешь всю ночь над чернокнижной ложью,
в змеиный выводок сплетая тьму и свет,

хоть на твоей тропе цветёт порок отравой,
но мы твой смертный грех и весь твой путь неправый
сполна простим тебе за то, что ты — поэт.

ЦВЕТНОЙ ПАУК

Есть чудо-хищник в южном том Эдеме,
где спят на солнце травы и деревья.

Подобный изумруд на диадеме
не каждой достаётся королеве.

На нём, как инкрустации, — рубины.
Он радужен в соблазне и обмане.
И он не въёт для жертвы паутины,
маня сквозь травы силою сиянья.

Не найдено никем противоядья
его укусу. И в цветах, в нирване
таится смерть — короткое касанье
охотника в сияющем наряде.

В КОЛИЗЕЕ

Народ мой есть! В его воловьих жилах
Казачья кровь струится и гудит...

В. Симоненко

Когда, взревев над жертвой упоённо,
Счастливый плебс уже захлопнул зев
И на арене сыто, утомлённо
Склонялся к дрёме мускулистый лев,

Тогда — в финале варварской забавы
Прославленных жестокостью веков —
Погонщики бросали в бой ораву
Огромных твердокаменных быков.

И новый рёв вздымался над ареной —
Бледнели гладиаторов бои —
И бешено, вскипая лютой пеной,
Несли на львов литые бугаи.

И царь природы кошкой шелудивой,
Встречая смерти неуклонный вал,
То на рогах взлетал — толпе на диво —
То тряпкой под копытами сникал.

* * *

Когда средь дум печальных и постылых
Склоняется на руки голова,
Припомним Симоненковы слова:
«Народ мой есть! В его воловьих жилах...»

* * *

О Понто Веккьо, что на Арно-речке
Сложил торжественный сонет Эредиа.
Ему сегодня удивляюсь я,
Не находя там света Божьей свечки.

Поскольку я лишь те люблю мосты,
Где мне видны просторы с высоты,
Где стрессов нет и выхлопов наркоза,
Где серебрятся рыбы в глубине
«И цапли, воспаряя в синем дне,
Перелетают золотые плёсы».

СОНЕТ

Попробуй всех земель и всех ветвей плоды.
Пусть повезёт тебе после вина хмельного
В болоте зачерпнуть ладонями воды
Средь мрака полуночного лесного,

Домой из долгих странствий воротиться
Или покинуть дом, спеша невесть куда,
Ловить в преддверье встречи поезда
Или остаться одинокой птицей.

Пройди все дали жизненных дорог.
Пусть будут там мечта, любовь и Бог,
И грозный блеск смертельного стилета.

И только не забудь в походной маете,
Что из всех дней твоих прошли не зря лишь те,
Когда ты написал хотя б строку сонета.

ПАМЯТИ МИХАЙЛА БЕРЛОВА

Весть внезапно меня догнала
От Михайла Берлова.
И вся прошлая жизнь ожила —
Враз, от жеста до слова.

Промелькнуло не несколько дней,
А как раз полстолетья.
Проросли из невырванных пней
Животворные ветви.

Исчезая в провале без дна,
Стали были напрасными снами,
И от всех, кто светил рядом с нами,
Сохранились одни имена.

2.2.2013

* * *

Яснозелёных крон переплетенья
И флёр-д'оранжа белая стена.
И пенятся у самого окна
Пахучие соцветия сирени.

А славно бы, как в восемнадцать лет,
Довериться весне звонкоголосой,
Ворваться в сад и по студёноросой
Траве помчаться — ни за кем вослед.

Нет, лучше отойти, окно закрыть.
Склонясь над Дгаммападой иль Кораном...
О нет, весна, сиреневым обманом
Меня теперь уже не полонить.

1964

Яр Славутич

(1918—2011)

ХЕРСОНЕС

Быстрее забилося сердце — взгляд с парома
Поймал название порта — Херсонес!
И, словно дальний гром среди небес,
Воскресла мова мамы, так знакомо:

«Мой род не прозвенел великой славой.
Скончалась рано матушка. Отец
В Манчжурии в бою нашёл конец...
А бабушка? — Была гречанкой бравой!»

И ощутил я, как в крови моей
Взыграли гены стародавних дней,
Былых страстей волнения и стрессы.

Гречанки юной тень, гибка, легка,
Плыла — из виноградника Одессы —
В любовные объятия казака.

На греческих островах, 1977 г.

НАСЛЕДНИКАМ ПОЛЬСКИХ ОФИЦЕРОВ

Для вас — Катынь, Осташково и Харьков.
Нам — Винница, и Лаз, и Быковня...
Несчётно гиблых ям день ото дня
Москва копала посредь мирных парков!

И, не терпя на слух славянских карков,
И тыча в карту пальцем наугад,
Верховный вождь, волчина, серый кат,
Опричникам приказы харамаркал:

«Врагов Кремля, всех ляхов и хохлов,
Всех без пощады — в тридесятый ров,
Чтоб не осталось и воспоминаний!»

Запомним же могилы те навек,
Дабы мы все, в чаду кровавой бани,
Не стали свалкой мёртвых и калек.

Харьков, 1990 г.

* * *

Отряды крыс в Андроповском астрале,
Во тьме подвальной изощряя нюх,
Гнобили день и ночь народный дух
И с ненавистью книги в клочья рвали.

Спокон веков былых эпох вандалы
Не ровня новым — пагуба разрух
Крепчала, и жучков шпионских слух
Вживляли в быт сыскных контор капралы.

Пируй, чумное племя! Дни расплат
Вам ныне в очи мутные глядят.
Не спрятаться убийцам в шорах, в бельмах.

С таёжных веж, из гиблых лагерей,
Из пыточных мешков, лесов расстрельных
Настигнут вас проклятия людей.

*Напротив здания КГБ.
Киев, 1990.*

* * *

Когда Каган, напутствуемый Кобой,
Посеяв всюду смерть-голодомор,
Казнил, долдоня людоедский вздор,
Мильонов семь для власти низколобой,

Когда, как мухи, мёрли хлебоборобы,
И брёл поэт сквозь смертный коридор,
Где был Ты сам, небес амбасадор?
За что нас в глину зарывал без гроба?

Погнали люд Йегова и Аллах
В московский холокост, в несчётный прах.
А Ты всё проворонил, святой Отче!

И не смолчу я сквозь жестокость дней:
Час Судный и Тебе готовит корчи
За зло и кривду на Земле Твоей.

Киево-Печерская Лавра, 1990

* * *

Тьму мавзолея семь десятков лет
Пьёт, как вампир, усохшая фигура
Того, кто нависал над миром хмуро,
Озвучивая гиблых маний бред.

Крестина лоб, создавший диамат,
Без пейзажей Маркса съёжился де юре.
Но вот возмездье! — Идола фигура
В пыль сброшена — от черепа до пят.

Кровавого вождя смели во Львове,
Свалили, проклиная в горьком слове.
Исполнился народный приговор!

Но на востоке, в мороке простраций,
Влача своей агонии позор,
Средь гнили черви-ленинцы роятся.

Львов, Донецк, 1991

Василь Боровой

(1923—2014)

СУДИЛИЩЕ

Судилище в подвале. Полутьма.
В крестах решёток, ёжится тюрьма.
Судья Рогожкин, жилистый, горбатый,
пилой скрежещет, ржавой и щербатой,
скрипя-читая. А ведь надо, чтоб
гром-приговор взрывал темницы гроб.

Но вот скрипит горбун: «За оскорбленье
Отца народов, за стихотворенья
о том, что Вождь — московский Чингизхан,
расстрельный приговор злодею дан
Украинским военным трибуналом.»
Прочёл — и хищным высверкнул оскалом.

А за порогом грозной той тюрьмы
стоит моя матуся меж людьми
и молится: «Узри, о Боже, муки,
не дай моё дитя убийцам в руки,
как дал Ты сына своего на крест.
Ведь Ты же знаешь — здесь не суд, а месть...»

А я стою — блестят штыки из стали.
Вот так меня в поэты посвящали!

МИР В СЛЕЗЕ

Вы видели мою маму? Вон, в одежонке дырявой
Села она на камень — кто б картошину поднёс...
Словно уже перед смертью — Боже, помилуй, правый! —
Перебирает бывшее глазами, полными слёз.

Когда выбирали долю — святые все были против
лихой для неё судьбины, лишь бес прогорланил «за»...
Кружится мир в безумье войн и переворотов,
Только печаль неизменна, горькая вдовья слеза.

Пасла коров с малолетства, по инею босоножкой.
А подросла — для пана рвала подсолнух в мешки...
Но, зная, и сирот печали стучатся к Богу в окошко:
Вернулся солдат с революций — у девушки просит руки.

Вот выйдет она из завода — бегала ж на «Канатку» —
Пшеничные косы несмело упрятаны под платок.
А он сигарку притопчет. Настю, Настусю, Натку
Возле ворот обнимет, хрупкого счастья росток.

Добра у него — лишь руки, у Насти в приданное — косы.
И не напрасно трижды ухал им сыч во всю мочь.
Цвет опадает над свадьбой, лето спешит на покосы.
Мужа её убили! Кто?.. Не ответит ночь.

Кто ж оборвал надежды? Наворожил беды ей?
«Иваночко мой, Иванко, кто же мне руку даст?»
Рогатый себя ли потешил? Всю ночь ли проспали святые?
«А вдовья слёзы — на небо» — знает Экклизиаст.

Кружится мир неустанно — пылит без конца дорога,
И каждый успеть стремится на собственный крест дорог.
С работы вдова вернётся, поплачет и славит Бога
За свет и в своём окошке — растёт у неё сынок.

Вы видели мою маму? Морщинки избороздили
ласковый её облик, тишь её и простоту.
Сам Бог позавидовал, видно: пришли и сына схватили.
Нужны им на Север зэки — кайлом ковырять руду.

Вы видели мою маму... Вон, в одежонке дырявой,
Сидит она, смотрит протяжно в потусторонюю тьму.
А рядом с ней Ангел смерти, печальник с недоброй славой,
Стоит и роняет слёзы — и сам не поймёт, почему.

«НЕ РЫДАЙ МЕНЕ, МАТИ...»

То ли сон, то ли нет? Шелохнуться боюсь я..
Где-то печку топить начинает матуся.
И слезятся печальные очи любимой —
то ль от дум обо мне, то ль от едкого дыма.
Глухо хворост трещит. Время искрами скачет.
Золотинками слёз печка с мамою плачет..
Долго молится мать — обо мне в Норильлаге,
где сполохи небес багрянеют, как флаги.
Полночь к маме сошла, как апостол с иконы.
Тяжки, Боже-Христе, в Твоём мире законы!
...Вскинусь с нар, как из гроба — до боли в утробе:
«Не рыдай меня, Мати, зрящи во гробе».

Норильск

ВСПОМНИЛОСЬ

Во двор въезжали с матюками
и брали, брали — всё до тла!

Под вой собачий с «кулаками»
боролась «Красная метла».
— Куда ж мы? — нет лица на маме.
Метла смеялась — и мела.

ДОЛЯ

Конвоя крик и вой овчарок,
И пыль столбом — колонны ход...
И день твой, словно недогарок,
Холодный гасит небосвод.

Впервые что ль — ордынца злоба,
Гортанный окрик, плеть-нагай?
Гляди же веку в очи в оба —
Не отставай, давай, давай!

А в сердце всё ж, помимо воли,
Не гаснет присказка, мудра,
О казаке, что не без доли,
О доле, что не без добра.

* * *

Жаринка, искра зверобоя,
О как мне там тепло с тобою,
Где речка кроткая течёт,
Где из яруг сочится морок,
Где сотню перемножь на сорок —
И то не всем печалям счёт!

* * *

Вывели из дому. Ой, не вернись!
В ночь отступает родная околица.
За Украину — сынов твоих, Русь, —
Матушка, став под иконою, молится.

Сон нависает над шляхом замком.
С шорохом вслед мне осока склоняется.
Белым платком, по-над крышей дымком,
Отчая хата со мною прощается.

Дмитро Павлычко

(1929)

РУБАИ

* * *

С рук матери мы сходим и идём
Искать свой плодоносный чернозём;
К рукам тем нужно с хлебом возвращаться,
А мы земную тяжесть к ним несём.

* * *

Смерть очищает землю и она ж
Планетный обновляет экипаж.
Любовь ей служит, только вот за кем же
Плащ голубой несёт она, как паж?

* * *

Гвоздь вытянуть труднее, чем забить,
Трудней покинуть, легче полюбить.
И жизнь трудней пройти в воспоминаньях,
Чем юным наяву дышать и жить.

* * *

Я птицей был, но меня мир схватил
И в человека превратил без крыл.
И вот, сказать хочу — и задыхаюсь:
Бьёт в речь огонь, что в крыльях я носил.

* * *

О смерти вспоминай, пока здоров,
Пока бодра, как кобылица, кровь,
Ведь тот не знает жизни, кто печали
Хоть раз не знал средь радости пиров.

* * *

Чтоб яблоня твоя родячею была,
Вбей гвоздь в неё — хоть мысль, как будто бы и зла,
Но так велит народ, и вбей — я уточняю —
Пока в ней дух живой, а не мешок дупла.

* * *

Чем больший эгоист и фарисей,
Тем больше ждёт почтения от людей.
Он так его украдкой принимает,
Как будто счастье чаевых — лакей.

* * *

Не знаю когда я жил
Может когда отец ходил за плугом
А я водил коней
И выхватывал босые ноги
Из-под незрячих копыт
А может тогда
Когда на львовском тротуаре
Вспыхнул от собственного стиха
И горячим пеплом рассыпался
По следам Франко
А может это было вчера
Когда я вошёл в днепровские воды
Плюнул на князя стоявшего на берегу
И ухватившись за своего бога Перуна
Сброшенного с горы
Плыл к неведомому морю.

Лина Костенко

(1930)

* * *

Ты смотришь вслед. А я уже — на трапе.
Слов нет. Зато печали — через край.
Жизнь движется по «Гауссовой шляпе».
Вчера лишь — «здравствуй», и уже — «прощай».

Прощай, прощай, чужой мне человеке!
Прощай. Тебя роднее не найти.
И эта та единственная встреча,
когда спасенье в мужестве — уйти.

* * *

Снега в снегах. Над речкой — льды литые.
И вербам руки холодом свело.
Бежит волчица-мать — соски пустые,
косясь зелёным глазом на село.

А то село — как призрак-погорелец.
И смерть прошла лесами напролом.
Несутся тучи. Кривит губы месяц.
И воем в ночь волчица за селом.

* * *

Там есть, вдали, гора, где молчаливы птицы.
О горе той горе, и горе тем лесам!
Когда-то там прошли охотники-убийцы,
приказывая дичь нести послушным псам.

И оборвалась жизнь такой певучей птицы,
что занемело всё, и смолкли те леса.
Доныне лишь паук над сетью суетится.
О горе, о гора, отдай им голоса!

* * *

Не спорь, пустым словам не прекословь —
они уйдут. А в рифме — жизнь и жито.
Поэзия есть праздник, как любовь.
О, это не беспечный лепет быта!

Не перезвон и не ассортимент
метафор, слов — на пользу ли, в угоду.
А что, не знаю. Я лишь инструмент,
что плачет снами моего народа.

* * *

Не этим Днепром ли челны византийские плыли?
Царевна плыла, и ей был восемнадцатый год.
И мифы ль о ней записали писцы или были?
Король её сватал, и викинг, и русич, и гот.

Там вид на сияющий Днепр так просторен и дивен!
Там зеркало славы в глаза ещё кривдой не бьёт.
И Киев стоит. И стоит, каменья, Владимир.
И в памяти их молодая царевна плывёт.

Василь Симоненко

(1935—1963)

47-й ГОД

Забылось и обид, и споров лихо.
Но помню я, как в том голодном дне
душистым цветом пенилась гречиха,
и аисты топтались по стерне.

И люди, так же мертвенно, как птицы,
шли с дедовскими косами на лан.
И опускали сокрушённо лица,
чтоб, зубы стиснув, «обеспечить план».

И плакали вдовицы, дети «хлеба!»
кричали над бурдой из желудей.
И, словно бы уже бесплотно, в небо
скелеты шли, герои трудодней.

И не забыть мне взгляд мужицкий хмурый
и матерей в испуге и тревоге,
когда всё ввали вы, писаки-шкуры,
о счастье тех, кто падал у дороги.

ПОЭТ

Я жил не раз, хоть не в одной оправе,
и умирал, и снова воскресал,
и из сердец людских огонь кресал,
а боль смирял мужанием в октаве.

И там, где все вы глаз поднять не смели
от кандалов тюремных, от оков,
Мартыновы из ваших тёмных снов
мне снова в грудь стреляли на дуэли.

Я устоял. На привязи железной
держали холуи меня, как пса,
и мучили в дыре холодной, тесной,
забросив в зауральские леса.

Но раной оставаясь и мишенью,
я не пошёл к нечистым в услуженье.

МОЖНО

Можно верить другу или милой,
грезить наяву или во сне,
близне июньских нежных лилий
улыбаться в разогретом дне.

Можно жить, а можно в тусклой стуже
вымирать, как тупиковый вид.
Но не в силах словом тронуть душу
те, кто не пылает, не горит.

Люди ищут смысла всё упрямей,
хоть глаза их искони тревожны.

А витают, смерть поправ, над нами
смеющие то, что «невозможно».

Я

Не знаю — силой дьявола иль Бога —
завет большой печали правит мной:
душой тянуться к радости земной
и правду говорить в оскал бульдога.

А хочется, закрыв свои глазищи
проклятые, забыть о яви-зле,
дом завести, оуклиться в тепле
и улыбаться, словно дурень нищий.

Но только сердце, сердце ненарочно
сжимается пекучей болью, точно
в отчаянье готово умереть.

И шепчет кто-то (может, совесть) властно:
— Не смей идти дорогой той несчастной,
она — не жизнь, а смерть.

Владимир Базилевский

(1937)

* * *

Лиру разбил Орфей:
Век этот — злобный гицель.
Вновь за щитом — плебей,
Вновь на щите — патриций.

Пастыри,
Я не ваш!
С личным запасом соли,
Сивый, словно Сиваш,
В судной пребуду роли.

В кровный вступаю круг,
Где за чужую провину
Всадит продажный друг
Нож по-предательски в спину.

* * *

Мало в мире копачей криниц,
Больше тех, кто жатвы ждёт, не сея.
Книги, — ум сердец и ясность лиц, —

Вы — как люди,
Но честней, вернее.

Чтоб моя душа, как филигрань,
Заискрился, в трепете запела,
Серебрится звуками гортань,
Полнятся медами соты тела.

Чую колокольцы-стремена,
Слышу звоны рифмы Великодней
Книги-люди, книги-имена,
Светятся криницами без дна,
Ввысь возносят, словно длань Господня.

Как люблю я ваш иконостас!
Веют книг листы листвою рая...
«Ухожу, друзья!» — в последний раз
Пушкин вас окликнул, умирая...

Петро Осадчук

(1937—2014)

* * *

Те ясени, что мой отец сажал,
а я срубил — зима была так люта!.. —
я не прощу себе и не забуду,
пусть и никто меня не осудил.

Те ясени опять позвали ввысь,
расправив парус осени багряный.
Они над пеплом прежним поднялись,
над незажившей рубленою раной.

Те ясени, что мой отец растил,
своим теплом меня спасали в стужу,
чтоб я, сквозь годы, память опалил,
опять услышав их живую душу.

Те ясени — любовь и боль моя.
Им надо мной высоко подниматься.
В пыланье крон узнают сыновья
багряный отблеск отчего богатства.

* * *

И гаснет тело. Тает, как свеча,
самосожжёнью верная отвеча.
И небо, тяжелея у плеча,
всё ниже к почве клонит человека.

И гаснет тело. Ночи всё длинней.
Фитиль свечи короче и короче.
Огонь и воск — уже на самом дне,
и жизнь взлетает на орбиту ночи.

И гаснет тело. Глуше пустота.
Свеча потухла — дым беззвучно взвился.
Но жизнь твоя сгорает неспроста —
и свет земной в другой душе продлился.

Слабеет тело. Тоньше, тоньше нить...
Но что за чудодействие с душою?
Душа не гаснет. Всё ясней звучит,
звения струной меж небом и землею.

* * *

Снова день минувший подытожу,
отмеряя новую межу...
Отчего о нём печалюсь всё же,
будто о всей жизни я тужу?

Дни мои с осенними очами,
с жаждою весеннею в груди,
сколько вас, ушедших, за плечами,
сколько вас осталось впереди?

Дни мои, меняюсь вместе с вами,
всё нежней касаюсь я земли.
За плечами — кони табунами,
впереди — прощанья журавли.

Павло Мовчан

(1939)

* * *

Блажен, кто вдалеке от всех земных забот...

Гораций

Блажен, кто вдалеке от суетных забот
не рвёт в запале пай, кладёт краюшку в рот
и ощущает миг, протяжный, словно год,
и чует, как сквозь соль и горечь дышит мёд.

Блажен, кто все слова заветные сберёт
и радость различать сквозь все печали мог,
кто, пригубив вина прозрачного глоток,
в деснице, будто жезл, вздымает колосок.

Блажен, кто ощутит сполна движенье дней,
кому земная даль с годами лишь видней,
кто видит вопреки теснинам широчень,
предчувствуя, что плоть растает, словно тень.

Блажен, кто день за днём ведёт по пашне плуг,
кто, лемех утвердив упорной силой рук,
зерно к зерну кладёт — от щедрости своей,
чтоб не было пустым круговращенье дней.

Блажен, в ком слово «хлеб» — «судьбою» прозвучит.
Родимая земля к нему благоволит:

то стелет луг к ногам, то на холмы ведёт,
то вглубь, любя, возьмёт — прочь от земных забот.

* * *

Берёз малиновый обрез
и синью оттенённый лес
да нитка тропки через поле...
А больше и не надо, доля!
Криничку разве что без дна,
глоток душистого вина,
корец зерна и горстку соли,
и песни маминой раздолье.
Весенний всплеск и жменю будней
да ворона средь стужи судной.

* * *

Сквозь лёд проходя и зрачком прозревая кристаллы,
зачем непременно спешишь ты добраться до дна?
Пораненный палец водою омоешь ты алой,
чтоб стала ясней тебе жизни длина и цена.

Дрожит на лету паутинка застывшего звука,
верну вдохновение и губы твои разомкну.
Но сердце зачем ты мне наполнишь глубинною мукой,
Затем ли, чтоб выznать страданий моих глубину?

Разорванным криком меж пауз паря, остываешь.
Осеннее солнце уходит — лови, не лови...
Ладонью горячей ты снова мне рот закрываешь,
И мерю терпением я горечь последней любви.

Владимир Затулывитер

(1944—2003)

ТЕОРИЯ КРЫЛА

Вставай, отец! Зовут крыла плугов,
как ранних птиц щебечущие стаи.
И Ворскла из зелёных берегов
ведёт разливы вод на первотравье.

Вставай же, батько! Слободская степь
полна до неба клёкота и клика!
И светит материнский честный хлеб,
как солнце, и белеет пеной кринка.

Вставай, и все приметы всех годов
напомни сыну своему в дорогу:
коль дождь в июне пахнет — жди мёдов,
а пар над полем — будет жита много.

Всему учи, рука твоя легка,
колодец ли копать иль хату ставить.
Ведь жить нам бесконечные века,
и род наш не иссякнет, не устанет!

За взлётом птиц в тугих потоках света
следит твой сын. Его пора пришла,
чтоб этим утром верно приметой
начать свою теорию крыла.

СОСЕД ПО САНАТОРИЮ

Он сед и кряжист. Он годами старше,
но не намного. Возрастом — на жизнь.

Матросские ступни — метровой меры —
впечатывает в почву крепко так,

что лайнеры в следы его садятся,
а в дождь — заходят корабли, как в порт.

НЕВЕСОМОСТЬ

Боюсь летать во сне. Земля на взлёте
уходит от меня волной тревожной;

и всё быстрее, всё опасней тело
теряет вес; и мысли — словно пух;

и я — бесплотный, лёгкий — просыпаюсь
от страха: оторвался от земли!..

ДРУЗЬЯМ, МОЛЧА

Я вам не вечный, нет. А вы всё пойте
себе. Я вам оттуда... подпою...

А вы всё пойте. Можно и в миноре —
про чайку, про калину, про вдову.

Вы пойте, други, без обид, без гнева,
что вас не долюбил я, а допел.

АЛХИМИЯ ИНЕЯ

Цветастым шагом ямбовым иду,
скрипит, поёт стихами
снег крахмальный.

Тебя качают сосны на лету,
тебя в себе,
во мне заколыхали.

И в этом сне, у яви на виду,
ты голубеешь золотом
сквозь воздух.

Настоян на коричневом меду,
шумит мой бор
в мажоре мачт морозных.

И подголоском шуму — звонко бьёт
в студёный бубенец
юнец-синица.

Счастливый бор! Он снегом заметёт —
мой след и сон,
и явь, что только снится...

ПАМЯТИ ОЯРА ВАЦИЕТИСА

Рыбацкий хуторок.
Тут нету неба и земли.
Тут море высоко. И высь глубинна.
Язычества зелёных молний
железо cedят из меня.

И тем железом да по мне же пишут
искрящие стрибожьи имена.

...Но не к тебе я шёл,
скороговор грозы.

Я, неосторожный,
нашёл то, что хотел:
костёр на берегу песчаном.
...И я не твой двойник, огонь.
А просто — я пришёл спросить,
что так безмолвно, как в ушке иголки,
что так безмолвно стало вдруг
у Вацетиса в стихе?
Вот в этих строчках:

Нет, я не стану есть свой хлеб
так, словно жрёт костёр сухие ветки...

* * *

Во всём — земля. И в брызгах чёрной грязи
у яблок на густом румянце щёк,

в сентябрьской тропке на моих подошвах
и в ласточкином брошенном гнезде.

И даже в пыли той, что мхом покрыла
нечитанные книжки, — всё земля.

* * *

Заточил карандаш —
словно сердце оголил:
промерзает оно
до чёрного уголька —
на вихрях радиоволн,

на сквозняках неуютной
розы ветров.
Пусть бы нашлось
такое-сякое,
наименьшее,
найтишайшее,
да хотя бы немое
нелукавое слово —
одеться во чью-то душу.

* * *

Шёлковая ласточка любви
слепила у меня в груди
из медовой глины детства
тихое гнездо сердца.

Пощекотала усы крыльями,
высидела слепые, беспёрые,
в жёлтых заедах
воспоминания:

сивый воронок везёт в село
арбу снопов,
такую высокую,
что колосья остями
цепляются за ветки созвездий
и осыпают меня, поднебесного,
зернистыми метеорами.

А конёк,
раз за разом останавливаясь,
долго и сладко пьёт
росяные родники

ласковых, как подорожник,
девичьих следов.

СЧЁТ МИНУТ

I

Накатит волна ночная,
под сердцем встанет,
замрёт —
и через мгновение,
не в силах стоять,
отхлынет в Днепр,
ничего не взяв с собою.
Разве что зачерпнув тишины из души —
и громче зазвенит железо
в груди у сверчка,
гуще басом баржи заревут.

II

Течёт и течёт во мне мать, как река.
Навстречу времени течёт
не в море,
из моря — в меня.
Слов терпеливую соль
выносит
на берег сердца —
соль багряную,
что и на лезвие сабли,
как на устах,
единым именем вскипает.

III

О чём им сегодня думается,
моим завтрашним словам?
Декабрьский вечер острыми фрамугами
стружит и стружит хлопья снега
из ресниц, окаменевших до души.
До тех пор, пока сердце древесины
заполночного часа
тихо и ласково, как новогодняя свечка,
не озарит, словно мою собственную,
старинную банальную истину:
чтобы не забыть — загляни в будущее,
хочешь дойти — оглянись в былое.

* * *

Литовка Рута,
языческое твоё имя
пишу
латинским строгим шрифтом
на шёлковом берегу Днепра.
Чернобровая и ласковая
черкасская волна
с шёпотом отводит мою руку,
с шёпотом смывает письмо,
с шёпотом уходит,
ровняя губами
целомудренный песок.

* * *

До песчинки знаю
родную землю,
до камешка,
до седых от мороза
колючих, остистых галушек
чернозёма
от отцовских сапог на крыльце.
Я всю её прошёл
молочными губами,
как весенний ручей,
учась языку.

* * *

Слова
отвыкли от моих губ.
Трава
Замкнулась в имени «трава».
Вода сама в себе длится,
заново, должно быть,
изобретая время.
Дружище лопух,
гражданин подсолнух,
товарищи пчёлы и осы,
озвучьте хотя бы вы
августовский мир —
всё было для меня таким вероятным,
что воплотилось раньше,
чем произошло.

* * *

Я не печалюсь
я тебя праздную
немой радостью травы
красною
чумацкой слезой
оплачет мак
мою зелёную душу.

* * *

Отмолчу
тебя совестью —
только так, молчаливо,
поддаёшься ты любви.
В чугунном литье
старинных оград
прокурлычет мне горлица
густым, зеленолистым
слобожанским говорком.

Василь Голобородько

(1945)

НАША РЕЧЬ

Каждое слово
нашей речи
пропето в Песне
песенными теми словами
в кругу побратимов говорим

каждое слово
нашей речи
записано в летописи
пусть не знают враги
какими словами
в одиночестве молчим

ИВАНУ

Иване,
нам не отвертеться:
пули, выпущенные палачом,
приставлявшим наган к затылку
осуждённым в 34-ом году,
нажимавшим что ни день курок —

до онемения пальца —
летят ещё и доныне
и попадают нам в лицо.

ДАВНЕЙ СОБЕСЕДНИЦЕ

Там мы ходили,
там мы ходили,
разговаривали:
ты была горлицей,
я же был гаем,
отзываясь эхом
на твои слова.

Там, где мы ходили,
пролежала тропка,
тропка к необычному дому:
золотая крыша,
серебрёные окна.

В тот дом мы так и не зашли:
то ли поздно уже было,
то ли ещё рано —
ибо двери были закрыты.

Но я и доныне, пешка-пешеход,
надеюсь
допрыгнуть конём
под высокое оконце
за дорогим подарком —
девичьим перстнем —
и не разбиться.

Виктор Бойко

(1946)

ИЗ МГНОВЕНИЙ

Увидишь на стыке двух улиц
в маршрутах трамвайных и пеших
те лица, что словно вернулись,
и взгляды, и жесты ушедших.

Рванёшь к ним с приветом и вестью
по зебре, по рельсам трамвая.
И вдруг занемеешь на месте,
себя среди них узнавая.

* * *

Порой хватает крохотки тепла
хотя бы в многословье фраз цветастых,
чтоб ты светился сквозь мороз от счастья,
как белка возле полного дупла.

Декабрьский день.
Как будто двадцать пятый.
И в нём стоишь ты — срубленной сосной,
ещё зелёной и вполне живой,
но с кроною непраздничной, примятой...

* * *

Грохочут тягачи (в армейском цвете хаки),
и падает стена на спину, вверх лицом.
И лают из двора соседнего собаки
с негородской совсем, голодной хрипотцой.

Динамик со столба о новостях вещает.
Грохочут тягачи, и всем не в новизну,
что сносят вновь село, что город насаждает.
А я подумал — фильм снимают про войну...

Василь Моруга

(1947—1989)

АВТОПОРТРЕТ СКВОЗЬ ВЕКА

И день забытый вновь меня поманит,
на миг загадку высветив свою,
но я лица сквозь толщу расставаний,
как через глубь воды, не узнаю.

Орда, крича, промчалась над пожаром.
Прошла орда — дрожит вода до дна.
Но отчего над светом тёмнокарим
так явна в глубине голубизна?

Я помню колыбель прибрежной кручи.
Откуда же во мне степная стать?
И чей мотив, нездешний и тягучий,
в исконном слове слышен мне опять?

Тот человек — вдали — растил ли колос
иль, может, гнал оврагом табуны? —
Мой, сквозь века и сечи, первый голос,
мой проблеск из бездонной тишины...

* * *

Был глупым рыжий ласковый щенок,
доверчивым. А говорили — дикий.
У ног вертелся. Пнут лениво в бок —
он — словно бы недоумённо-тихий
и тут же всё прощающий упрёк.

«Ищи друзей среди своих, пострел!»
Но, по-щенячьи безоглядно смелый,
весь этот взрослый мир любить хотел он.
А мир? — а он плевать на то хотел.

Он мог бы выжить — поумней живи.
Но тут как раз осеннее открытие
сезона. Вы охотников поймите:
где дух добычи — там не до любви!

Его терпели чуть ли не полдня —
всю дичь бы распугал, ласться да лая...
Любовь моя, среди какого мая,
чьим выстрелом ударишь ты в меня?..

* * *

Над сумерками властвовал минор,
густела синева бульваров сонных.
И был чуть слышен листьев перебор
в дремотных липах и уснувших клёнах.

И прятал город в сумраке лицо...
Как вдруг блеснула в конусе фонарном
мальчишек стая — звонкое кольцо —
что шли, танцуя, замершим бульваром.

Из круга золотого развилась
живая лента танца. Над гудроном
транзисторная музыка лилась
и поднималась к полутёмным кронам.

И праздника внезапного свеча
зажглась так ярко в сумраке унылом,
и радость — потому ли, что ничья? —
так щедро тусклый город осветила,

что и теперь в миноре вечеров
(а сколько дней с тех пор минуло все?)
вдруг оживёт та стайка школяров,
на замершем бульварчике танцующих...

КАУНАССКИЕ КОЛОКОЛА

Седая башня затаилась хмуро,
и вдруг, как стая всполошённых птиц,
над хрустким сушняком клавиатуры
взлетели пальцы и метнулись вниз.

И взмах другой — как будто догоняя,
но не догнать уже и не уйти —
так колокольных перезвонов стая
малиново блеснула с высоты.

Так музыка промчалась вдоль квартала,
над улицами утренних дымов,
так юность поседевшего металла
проснулась в голосах колоколов,

та, что влекла к высотам за собою
сады, дворы, всех жителей земли...

И только лишь брезгливые губою
к той выси прикоснуться не могли,

где полнится закат волной печали,
где множит радость ранняя заря...
О, как скрипели тяжкие педали
на башне под ногою звонаря!

В тех звонах счастье и тревога пели.
И нам Господь сполна простит долги
за музыку. Неважно, в самом деле,
что так скрипят натужно рычаги!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Саркису Григоряну

В краю, что нравом юн и лучезарен,
среди наследий вековых книг
есть человек — ему я благодарен
за то, в нём народ его постиг.

Народ, который в тридесятом горе
достоинства не предал своего.
Высокий и певучий, словно горы,
отечески укрывшие его.

Гонимый и терзаемый веками,
сберёг он веру гордую в очах,
непобедимо твёрдый, будто камень,
открытый, словно небо в тех краях.

И не подскажут строгие могилы
и жёсткие кремнистые поля,

как в нём такую щедрость породила
суровая и скудная земля.

Иль тем она сама стоит — скупая,
горбатая, изъеденная ржой —
любой частицей почвы сохраняя
побег добра — за каждую душой?

Не знаю. Но народ, что сердцем храбро
огонь и песню воедино слил,
я смог бы полюбить за то хотя бы,
что он мне верность друга подарил.

Владимир Стальный

(1947)

* * *

А я, признаться, тем уже утешен,
Что всех цветков запомнил имена,
Что братец мне — орех в листве орешин
И любя мне родная сторона,

Что радостен рассвет мой, слава Богу,
Свободна от тумана голова,
Что Материнка весело к порогу
Ласкается — молочная трава.

* * *

Над островом ещё парит жар-птица,
Но солнце тихо прячется во мгле.
А свет... Последний луч судьбы дробится
Полоской на скудеющей земле.

И взор твой всё безмолвней... В листопаде
Очнёшься, позабывшийся на миг, —
И осень, тропка, клёны — и некстати,
Ты, странный, так некстати среди них.

* * *

Печалилось. Темнел, сгущался вечер.
Смутны надежды и лазурь бледна.
И чья же тень вдали, нагорбив плечи,
Букетик мнёт, растеряна, грустна?

Где встречи те теперь, в каком астрале?
Слова и встречи... Сумерки сошли.
Кого же те цветы, волнуясь, ждали
И для кого признание берегли?

Любовь Голота

(1949)

* * *

Виденье детства: лето, вечереет.
Бесшумен меж созвездий птиц полёт.
И, впившись в гриву конскую, немеют
ладони. И отец коня ведёт.

Вздыхают в ковыле седые боги.
И видится опять так ясно мне:
белеет шлях, и по степной дороге
я еду на отцовском скакуне.

И путь верхом — нелёгкая забота.
Галоп, аллюр — и степью наугад.
Из тьмы грозит горящим оком кто-то,
и конь тебе — единокровный брат.

И первой прискачу или последней... —
Нет, не об этом спросит Бог меня.
Сожму узду в седле, в колыбе смертной —
ведь мне отец мой выбирал коня.

* * *

Кто я?
Глаза мои препон не знают,
мысли мои бурлят,
Порывистость зовёт в дорогу.
Кто я? Где моё начало, где венец?
Отчего стих вбирает мысль мою,
где доминанта и где корень,
и когда я пойму —
почему море имеет право
пребывать вечным,
а мысль моя об этом
утонет в пашне и исчезнет?
Почему не могу сотворить
единый цветок на твоём фоне —
не плод воображенья,
а день твой насущный,
что вылился из моих очей,
выпорхнул, словно ангелок
с крыльями цвета зари, —
и никогда не увянет,
не вернётся никогда?

Анатолий Перерва

(1949)

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬКОВСКИЙ

Вековые степи. Донца разогретые плёсы.
Зелень летних левад. Вишняки. Голубая полынь.
И скрипят неустанно чумацкого воза колёса,
и светлы небеса, повенчавшие солнце и синь.

Где же Ваша, художник бессмертная «Гибель Помпеи»?
Где холсты о лазурной и царственной Рима поре?
Где сановников звёзды, вельможных вояк портупей,
где спесивые лики сановных особ при дворе?

Он молчит. На холстах — слобожанские ветхие хаты.
И дворы, на которых лишь ветер да куст бузины...
И богаты не золотом, лишь степью и небом богаты,
не по римским дорогам бредут его яркие сны.

Вот он солнце, как яблоко с ветки Муравского шляха,
катит кистью в подарок чумазой босой детворе.
Вот он кличет Голоту на сечу с османом и шляхтой...
Он придворный художник. Но не при царёвом дворе.

Он молчит и рисует. Как луч среди ржи васильковой,
кисть его озарит небеса — те, что в каждом из нас.
И под каждым рассветом есть подпись его «Васильковский».
Только знают об этом лишь небо да завтрашний час.

ДОБРО

Суета. Сестра не видит брата.
Брат не помнит голоса сестры.
А бабуся села возле хаты,
приласкала внуковы вихры.

И молчит... Всё не было ей дела
до погонь за счастьем. Просто так —
хлеб пекла, про гай зелёный пела,
чернобривцы сеяла и мак.

Вытирала синим ветром очи,
у криницы наполнила ведро,
проводжала сына в стужу ночи
и ждала, и верила в добро.

Усмехались мудрые соседи —
доброте, мол, не пришла пора.
Чтобы не пропасть на этом свете,
не зевай да наживай добра!

Но она иной судьбой дышала,
и щедра была её душа.
У дороги мальвы поливала —
для красы, а не для барыша.

И вилась её коса вишнёво,
и цвело её добро — для всех!
Как вода колодезя степного.
Как Отчизна. Как ребёнка смех.

Геннадий Литневский

(1951—1989)

* * *

Когда, на людях, ты проходишь мимо,
Держу себя в руках, невозмутимо
Отшучиваясь фразой безобидной,
Иль, отстраняясь от всех, словно чужак,
Кричу в душе со страстью ненасытной:
«Я ль это? Разве я сумел бы так?»

Когда же, — так поспешно, так нечасто, —
Вдвоём мы, и опять ты вся — моя,
Я ль это снова? Ведь такого счастья,
Такой любви не выдержал бы я!

ОСЕНЬ

Листопадом брожу и натуру
Для картона ищу, для этюда.
Где мазок тот, который де юре
И де факто — осеннее чудо?

Под дождём возвращаюсь я, друже.
Вдруг блеснёт под ногами, в тумане,

Лист кленовый в синеющей луже,
Как Австралия в океане.

* * *

И когда мои грусти-печали
Улетят далеко за межу,
Вспомню я все бывшие причалы,
Усмехнусь и негромко скажу:

Ты ступай своей тропкой босою,
Не ищи себе поводыря.
Розовеет опять над росой,
Над душой расцветает — заря.

Игорь Рымарук

(1958—2008)

ГРЕШНИК

Евгению Пашковскому

Господь меня простит: несправедно я жил
и только тех любил, кого любить по праву
не мог. И от ножей в стихах не уходил.
От своего креста спасенья, как Варавва,

у люда не просил. И вот Господь меня
простит. За чёрный хмель. За все лебяжьи плечи.
За сумасбродных птиц. За острый камень дня.
За яблоко-налив, что головой Предтечи,

на блюдо упадёт. И, говоря, Господь
меня простит... А нет, не сможет — и не надо:
сметёт, смахнёт тряпьем, что называлась — плоть,
весь сор плодов и слов подоблачного сада.

ВАРИАНТ

Что — снова стыд очей упрятать в руки?
Мороз трещит иль рёбра под пинком?

Какой же снова муки взыщут звуки,
дабы не задохнуться под замком?
Где долгожданный загулял апостол?
Куда его худой башмак забрёл?

Он не нашёл обетованный хостел
и бороною подметает стол.

* * *

Зачем твой шёпот: не забуду..
Зачем твой стих — разменный грош?
Суда несправедного, блуда
в себе вовек не изживёшь.

Ни шалой, ни оседлой кровью,
ни дрожью в тягостных руках
не отведёшь от изголовья
Пречистой Девы в синяках.

Не спас в себе знамений высших —
тебя и гибель не спасёт:
не сыщешь и средь гиблых выжиг
ножа случайного джек-пот.

РОЖДЕСТВО

множится заря
в твёрдых снегах в зеркальных стенах
сбились с дороги
трое царей в маскхалатах

развивает пречистая клубок
узелки тихо вяжет
усталый плотник дремлет
при щербатой секире

око фонарика
вырывает из тьмы великанские ясли
обогрелся младенец
под боком у минотавра

Ирина Мироненко

(1960)

* * *

Двадцать лет миновало.
Коньяк не разлит «Жан-Жак».
За обоями ссоры живут и тирады признанья.
Я устала читать в каждом новом намёке знак.
И семь роз притопила слепыми щенятами в ванне.
Будем рады годам, как туману — седой конокрад.
Сколько спрятано нами — наружу не вытянут кони.
Что-то ж мы сберегли, как до самой весны виноград.
Вон как гроздь тяжелеет у выросшей дочки в ладони!

* * *

«Ближайшей ночью Украину накроет холода волна» —
услышу новости. За рамой, озябнув, съёжились кусты.
Покуда город примерзает к студёной плоскости окна,
прижмурились беда с тревогой, печные чёрные коты.

Не нас ли, пару птиц залётных, в чужое занесло тепло.
уже и город дышит в душу, как давний огонёк степной?
Неважно, что холодным кругом на небе месяц обвело,
весна перебирает зёрна для пашни завтрашней парной.

Иван Малкович

(1961)

КЛЮЧ

Я потерял свой ключ: сосновую иголку
назвал своим ключом и обронил в траву.
И вот который день без карты и без толку
прочёсываю лес до позднего «Ау».

«Найду иль не найду» — терзаюсь, словно Гамлет.
А был ли ключ? И дом, стоящий на песке?
Опять ищу весь день. А вечер хвоей пахнет,
сосновою иглой, растёртою в руке.

СТРАНА СОЛНЦА

Убийца варит знахарское зелье,
вахтер безглазый стережёт короны,
банкир играет рифмой-канителью,
и шьёт поэт на бедность панталоны;

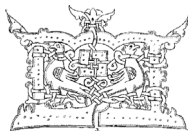
путаны, тенора и футболисты
седлают трон. Отличница умело
для спонсоров на льду танцует твисты.
И, словно сыч, хохочёт Кампанелла.

СОН СО СВАДЕБНЫМ ХЛЕБОМ

Три кукушки на хлебе, но есть недопёк — потому
бричка с князем-княгиней просела в провал паляницы;
и мягчайший, высокий, увлёк каравай в свою тьму
жениха и невесту, кукушек, свидетелей лица
и всё то, что назавтра загадано свадьбой ему;

и когда долетит от той брички подков перезвон,
всё, что в тесто запало, воскреснет порою ночью,
и над хлебом насущным с княгинею князь, словно сон,
закружат, будто хлеба душа закружится со мною...

**«И нежной присяге
никто не изменит
из нас...»**



*переводы
с белорусского, болгарского,
боснийского, македонского, польского,
сербского, словацкого, словенского,
хорватского, черногорского, чешского*

С белорусского

Рыгор Бородулин

(1935—2014)

* * *

Больше мыслей — тревожнее сутки.
Зреет мудрость и множит печаль.
Крутит время туман-самокрутку,
лиловее лугов пастораль.

Луч познания и зорко, и зримо
в разнотравье дробится, цветёт,
в мотыльке, пролетающем мимо,
ловит смысл и душе отдаёт.

Но почувствуй, горчащей приправой,
привкус лета, уплывшего вдаль.
Над покосом, над лугом — отавой
всходит поздняя мудрость-печаль.

* * *

Идущие на смерть — да будут жить!
Они приходят, чтобы тьма исчезла
и чтоб клыки ощеренного беса
отвагою возмездья сокрушить.

Дай, Боже, воли воинам добра.
Бесстрашные не могут быть рабами.
Пусть челядь в ноги бухается лбами
тирану — безнадёжна их игра.

Да не померкнет праведников свет,
их кровь в веках продлится без забвенья.
Отчизны честь, Родимой возрожденье —
её сынов и клятва, и завет.

2011

Марьян Дукса

(1943)

* * *

Едва концы с концами сводит лето.
Похоже, что ни год — скупей природа.
Луга травой пожухлою одеты,
и пчёлам лишь на зуб осталось мёда.

Выходит, вновь она не додала
рассветов, лепестковых, пламенистых,
заветного желанного тепла
и щедрых гроз, и переплеска в листьях.

И полной мерой ягод и грибов
опять не одарила перелески, —
как видно, нашу растеряв любовь,
свои лимиты сократила резко...

ПОЗДНИЙ ШИПОВНИК

Неутомимый шиповник!
Хоть близится закат,
плывёт сквозь вечер —
твой заповедник дня,

просвеченный
яркими солнцами ягод,
гостинец
с обоих боков пламенеет.
Вот-вот и насушится
осень глухая,
ты же радостно светишь
от весны до весны,
цвет твой полыхает,
счастливо
холодные сияют лепестки.
Хоть снежные тучи
собираются где-то —
в небо
рвёшься из колючего одиночества.
Дальше — в зиму —
порываешься нести
терпеливость плодов
и неустанность цветения.

Аксана Спрынчан

(1974)

* * *

Создана
из ребра
верлибра,
надкусываю
райское яблоко.
Вкус свободы
с привкусом железа.

* * *

Черчу
крестики в стихах —
вышиваю
своих поэтов.
И выживаю
вместе с ними.

* * *

Выбираю бульбу
и выбираю
Беларусь.
Не хочу другого рая.
Да и ада иного не надо.
Так же точно думают
и колорадские жуки.
Вот-вот начнётся
сезон борьбы
с единомышленниками.

С болгарского

Николай Лилив

(1885—1960)

* * *

Дождь, весенний каплепад
Вновь звенит железом крыши.
И опять весне я рад,
Все надежды переживший.

Тихий дождь, весенний день —
Трепет трав и шёпот ласки.
Вдаль плывёт цветная тень
Невесомой зыбкой сказки.

Слёзы капель, искр испуг,
Молодой природы тело.
Стоит ли считать, мой друг,
Сколько искр с дождём истлело?

* * *

Луч рассвета, перезвоны.
Прочь ночная тьма ушла.
Махаоны, махаоны,
Серебристые крыла.

Синь безбрежна и исконна.
У оконного стекла
Расцветают махаоны.
Серебристые крыла.

Изумруд листвы зелёный
Сеть ветвей в узор вплела.
Махаоны, махаоны,
Серебристые крыла.

Борислав Геронтиев

(1943)

ЗАПЕВ

Наияснейшее и первейшее искусство — хлеб,
Руками прыткой крестьянки замешанный с вечера...

Такие же руки растили меня — душистые от теста,
Благоуханные от поля.
Такие же руки и до сих пор держат меня — на жилистой
ветке
Колышется крестьянская колыбель моей песни.

МОЛИТВА

Тучка-странница, спускайся поужинать...
Под невысокой софорой
С нами сядь и подогни колени,
И с кусочком хлеба проглоти
Долгий путь свой от травы до звёзд.

Когда ты оттуда смотришь, из бездны,
Видишь, как встретились в моём сердце
Путь наощупь ступающего слова
И путь муравья с хвоинкою тяжкой?

Есть что-то в нас, что неподвластно слову,
Насущнее нашего насущного хлеба
(Для журавлей — зерно или хвоинка).
И всё же каждую крошку жизни
Сравниваем мы с крошкой хлеба.

Обиды я принимаю с усмешкой,
Однако вспоминаю своего отца.
И хочется мне хотя бы раз,
Как отец, ударить о стол кулаком,
А потом сына ласково погладить.

Со мною будь — не забывай о просьбе:
Оставь меня без еды и воды,
Но лишь присказки не повторяй никогда
«Человек, уступи дорогу мурашке...»
Тучка, опустишь на грешную землю.

Георгий Белев

(1945)

ЛУВР

Из золотых, витых, опрятных рамок
Свисают гроздьями нимфы и сатиры,
На нежных тронах печальные мадонны
Заботливо укачивают Христа.

И вот, и вправду, несколько веков
Головы, покрытые тюрбанами,
Всё склоняют искренне и статичо,
В чрезмерном удивлении, волхвы.

Стук деревянных весёлых башмаков
Слышен под фламандским невысоким небом,
Что в сдержанном суровом отраженье
Сереет важно изо всех углов.

Среди комнат меж разноцветных окон
Грызутся за кость псы — их хозян
Балует, и конца, наверное, не будет
Их шумному банкету.

Какое тихое смирение под этим лаком!
Но с воем назойливой мухи
Появится там когда-то бог весть откуда
Страшный бомбардировщик за окном.

Это ныне всего-навсего мазок,
Но через мгновение тебя охватит ужас
И поймёшь ты, что все эти персонажи —
И фавны, и сатиры, и волхвы —

Только крик в туннеле времени
И не больше.
Только топотание детских ножек
Перед отдалённой свастикой чёрной,
Перед чьей-то тенью световой.

СЫН

В тебе течёт чудесная кровь,
Мой сын! Я возвестить хочу,
Как возвещали наши отцы
В былые времена,
Достойные и величавые.

Я напрягаюсь и даже руку
Поднимаю над собой патетично,
Но ничего у меня не выходит,
Словно рот мой
Исчез с моего лица.

Ты меня тревожишь,
Кибернетическое дитя
С выпуклым лбом и ироничным взглядом:
Подвижное твоё тело
Подобно галактике из молекул,
И я, бессильный,
Всматриваюсь в неё.

Красимир Георгиев

(1948)

ВОЙНА

Империи живут насильем и войной.
Когда воюет Савл, теряет голос Павел.
Над теми, кто убит, над паствою земной
провозглашает власть самодержавный дьявол.

Пегасом в рифму ржёт, бахвалится война
то ядерным грибом, то атомною розой.
Но поэтичных слов для смерти нет — она
написана всегда неумолимой прозой.

Над бездною войны мосты, дрожа, висят.
А власть-блудница бьёт нечистому поклоны.
И, если устремлён к гибели твой взгляд,
тебе навстречу смерть откроет взор бездонный

и вновь пойдёт огнём на хрупкое жильё,
и в ненависть, и в месть ввергая мир без срока.
И героизма нет в костлявой — суть её
в любые времена нелепа и жестока.

Венки укроют всё — бесстрашие и страх,
фанфары прозвучат, благоговейно кратки,
над павшим и над тем, кто на семи ветрах
мешает свет и тьму в немыслимой загадке.

ИЗ ПОЭМЫ «ПОСЛЕДНИЙ БОЛГАРИН»

О, Болгария — горы в лесах, кипень рек, белых хаток
соцветия.
Груз руин над добром и над злом. В язвах — Книга
спасения.
Рвусь всей жизнью к тебе, но дороги — длинней, чем
столетия.
Половина души нашей — свет, а вторая — и грех,
и смятение.

Вот мы, дети заветной земли, а над нами —
мутанты-правители,
круг стервятников в жажде пожив. И всё щерятся
бесы прошлого в очи грядущему. Лику Спасителя
об Отчизне молюсь я. И знаю — по вере отмерится...

ПО ТУ СТОРОНУ РЕКИ

Приготовься к короткому плаванью
в безмятежность, в забвения край.
На челне над космической гаванью
понесётся душа твоя в рай.

Спор со смертью — занятие пустое,
да, похоже, и времени нет.
Ни забот, ни кредитки с собою
не бери в измеренье иное,
лишь гребцу — пару медных монет.

ЖЕНЩИНА БЕЗ ТЕНИ

Глаза твои полны печали неизменной,
так грусть их глубока — утонут корабли.
Одной планеты свет средь черноты Вселенной,
одной свечи огонь во тьме ночной земли.

Песочные часы шуршат, и ветер снова
дождю поёт псалом и притчу о тебе.
Невеста, но ничья, плоть от ребра Христова,
без тени рук мужских, без проблеска в судьбе.

ИГРА

Мы ль с тобой той игрою живём,
где так странно и так ненадёжно
зов любовный и ночью, и днём
в сердце нам ударяет тревожно?

Крылья бабочки вспыхнут огнём
в магнетической ауре свечи.
Путь двоих. — Что мы знаем о нём,
простодушного чувства овечки?

Брачной жизни изломы — не впрок
юным рифмам в забытой тетрадке.
И развод — неизбежный итог
ловле смыслов в кофейном остатке.

Кто — сгоревший в огне мотылёк?
Кто попугайчик, свидетель и зритель?
Каждый прав. Никому невдомёк,
есть ли в странной игре победитель...

СТРАНСТВИЯ

Главное — не направление движения. Важнее
пламя в душе человеческой — Будда изрёк.
Странствия — вечный узор, самоценность идеи,
а не узлы остановок на нитях дорог.

ФРЕСКА

Плачут иконы! Безбожники молятся —
но не душой, но не каясь — во храме.
Пред лицемерием их Богородица
ликом темнеет — в печали и сраме.

Рушится купол под грохот восстания.
Плачут иконы! И солнце усталое
гаснет в последнем слабеющем пламени.
И словно дети пречистые малые,

плачут иконы. — Надменной гордынею
мечена без покаянья дорога.
Скорбны над попоранной верой-святынею
очи влюблённого в чад своих Бога.

Ищут спасенья безбожники старые
среди образов. Но заветы священные
вспыхнут вот-вот огнекрылою парюю,
как еретический стих над геенною.

УДАРЫ СЕРДЦА

В раскалённом знойном полдне бьётся сердце, мысль
вскипает.

Настигают сновиденья как предвестники беды.
И не спит ни мига совесть, и с тревогой ум взирает
На парадоксальность истин, на скудельных лет труды.

И глядим с надеждой в небо: высь — крылу земному
друг ли?

Всё трудней удары сердца, строже путь день ото дня.
Но с отвагой нестинарской вновь ступаем мы на угли,
Полнясь первородной силой от золы и от огня.

ЕДИНОРОГ

Единорог, белоснежное диво,
встретился мне средь зелёного луга.
Ветер трепал его яркую гриву.
«Ищешь ли всё ещё верного друга?» —

строго спросил он, в глаза мои глядя,
трижды сверкнув многоточьем копытца...
Так вот, мечты и реальности ради,
братство меж нами — рифмуется, длится.

Елка Няголова

(1952)

ПОДСОЛНУХ

Я ныне словно сентябрьский подсолнух.
на плечи склонила отяжелевшую голову,
и сыплются мысли —
семенами наверняка уже зрелыми...
А что ни ночь снится мне снова
зелёное платье на стройном стебле
и золото минувших дней — уходящее...
Птица по капле выклёвывает слова,
повторяет их потом по слогам —
сбиваясь, пересказывает солнцу вести
из чужой жизни —
почти уже безразлично...

ПЕРВЫЙ СНЕГ НАД ВАРНОЙ

...А случилось это так:
Божья мать в небесах
крошила наибелейший хлеб,
чтобы приготовить Господу пудинг.
И посыпался вниз первый снег —
укрывая

и берег, и мосты, и море,
и моряков, что, отплыв вдаль,
уже едва
могли видеть
свою Итаку...

Лора Динкова

(1988)

ПУТЬ

Радуга то угасает, то разгорается,
лишь одинокий Бог создает мир.
Полуреально, словно сомневаясь,
удержит ли хрупкая жизнь
тяжесть одиночества...
Лирическое введение в мир
есть всего лишь повод,
чтобы наполнить истиной
множество идей и понятий
несовершенного (и смешного) человека.
Смотрю сквозь увеличительное стекло
снаружи,
осторожно приближаясь к душе;
от глаз моих поднимаются
полусонные закаты веков.
Я давно приблизился к ней,
уведите меня указующим перстом,
чтобы я прошептал еле слышно:
ничего не было под стеклом!

УСПОКОЕНИЕ

(Ребенок, моргнув незрячими глазами,
вдруг увидел одиночество).
Теперь моргаю среди людей и часто теряю опору.
В паузах — сквозь отверстия слов,
я рассказываю сказки мертвым;
другим — оставляю только робкий шепот.
Мы не уступили дорогу
друг другу,
и тела наши неловко столкнулись,
наши руки, наши глаза
и вслед за этим — остаются сиротами.
«Спокойно» — шепчу я тебе на ухо —
второй раз это не пройдет!».

С боснийского

Мак Диздар

(1917—1971)

* * *

Сожму узду коня — под самую улыбкой.
На солнечном лугу зеленогривый конь
касается небес летучей рысью зыбкой
и сыплет из ноздрей желания огонь.

Вскочу на скакуна из бешеного мяса,
из лёгких облаков просторного чела.
За девушкой-судьбой, с кобылей негой глаза,
несётся мой ручей из золота и зла.

Настигну я её, красавицу. А птицу
на волю отпущу. Я в воду и в огонь
с годами всё верней готовлюсь превратиться.
Гашу ресницы звёзд. Смотрю в родные лица:
ручей, ночной костёр, чабрец и брат мой, конь.

ГАРМОНЬ

По улице Сараева — слепой
брёл с пыльною изношенной гармонью.
И нотных кнопок скрип и разнбой
рождад почти что плач в надрывном тоне.

А уличный бродячий мальчуган,
смеясь, под эту музыку печали,
плясать пустился, счастьем обуян,
в своём, ему лишь ведомом, астрале.

И он плясал, как будто пел: «Живу!»,
под жалобу слепой гармонн зыбкой,
пока, уже без сил, не лёг в траву
и не уснул с блаженною улыбкой.

С македонского

Ацо Шопов

(1923—1982)

ПРОЧТЕНИЕ ПЕПЛА

Пылай, тревожный стих, в огне, что был зажжён тобою.
Когда слова моей души, сгорев, уйдут в золу,
я тёплый пепел их прочту, завещанный судьбою,
дабы вернуть и век челу, и новый взмах крылу.

О, песня, ты — из клювов птиц моих кровей летучих,
ты — из багряных облаков и воспалённых вен.
В непримиримости начал, в быстро-мятежных тучах
восходит солнце как завет грядущих перемен.

И я, ушедший от икон, от смутного их гнева,
опять — воитель той мечты, что словно остриём
копья, на камне чертит суть, скрипичный ключ напева —
не по канону, может быть, но о своём, живом.

Мой звук, мы вновь — два мира, мы — две разные планеты,
мы — два воюющих клинка из стали голубой.
Кто победил? Кто побеждён? Кто пьёт из губ рассвета?
Сгарай, тревожный стих, в огне, что был зажжён тобой.

ДОБРОЙ НОЧИ

В сумерках умирает что-то летучее.
нечто, не имеющее имени.
Кто-то пьёт чёрное молоко из тучи,
а кто-то прямо из вымени.

ЛЮБОВЬ

Заставляешь меня быть
таким, как я есть.
с ласковой усмешкой
направляешь на меня меч.
И я становлюсь, как любовь,
как твоё невинное сердце.
как сама доброта,
как малый ребёнок.

Но чужому сознанию
ты недоступна,
знаю твоё упрямство. —
Вот я обнажённый,
словно вдохновение,
стою перед тобой.

В ТИШИНЕ

Если тебя жжёт что-то неизречимое,
то, для чего ты и слов не найдёшь,
закопай его в тишь, всемогущую и глубинную,
тишь пропоет его чисто, отметая любую ложь.

С польского

Адам Аснык

(1838—1897)

* * *

Люблю тебя! О, это слово
Неповторимой чистоты!
Ведь день весны вернётся снова,
Чтоб в сердце разбудить цветы?

Ведь должен я, поверив чуду,
Воскреснуть Лазарем опять?
И свет, летящий отовсюду, —
Твой образ солнечный, — принять?

Люблю тебя! Возможно ль это?
А вдруг обман и ложный знак?
О, нет! Я вижу луч рассвета
И ночи побеждённый мрак.

И всё во мне — живей, свежее.
И на душе растаял лёд.
Я верю вновь в любовь — и с нею
К нам обновление придёт.

Люблю тебя! Вслед сновиденью
Явь расцвела в садах надежд.
И мир, как в первый день творенья,
весь бел от свадебных одежд.

И вновь, душою окрыляясь,
Лечу над скверною земной.
И Елисейских гроздей завязь,
весь первородный рай — со мной.

Ян Каспрович

(1860—1926)

* * *

И влюбилась душа моя снова
В тихий трепет и шелест дерев,
Когда в кронах подлеска ночного
Зазвучал друга ветра напев.

И влюбилась душа моя снова
В рокот волн, в их раздумье-печаль,
Когда гонит их волей суровой
Друг мой буря в кромешную даль.

И влюбилась душа моя в токи
Ранних зорь, что алеют над ней.
Друг мой солнце встаёт на востоке
Пламенеющим сторожем дней.

И, влюбившись, душа моя водит
С тьмой ночной хороводы, когда
Друг мой смерть на охоту выходит,
И в испуге немеет звезда.

Леопольд Стафф

(1878—1957)

НАДЕЖДА

Я вызнать захотел из Зодиака
Свою судьбу, земной юдоли даль,
Но там, средь звёзд, не отыскал я знака
О том, что стихнет дней моих печаль.

Опять стучат и дождь, и ветер в двери,
Вослед вчерашней буре и дождю.
Но я надеждой жив и снова верю,
Придёт всё то, чего так долго жду.

И дверь свою оставил я открытой,
Есть тайная уверенность во мне,
Что радость с винной гроздью грановитой
Войдёт в мой дом в вечерней тишине.

Юлиан Тувим

(1894—1953)

СЧАСТЬЕ

Мне мир не интересен.
Красоты городов
Мне не расскажут больше,
Чем шорох сорняков.

И мне не интересны
Магистры ста наук.
Мне дорог первый встречный,
И он мне — лучший друг.

И не нужны мне книги —
Спешу меня стыдить —
Я знаю и без книжек,
Что означает жить.

Под деревом усядусь,
спокоен, одинок.
О, жизнь! О, моё счастье!
Как славить Тебя, Бог?

Вислава Шимборская

(1923—2012)

В АЭРОПОРТУ

Бегут друг к другу с раскрытыми объятьями
и кричат смеясь: «Наконец! Наконец!»
Оба в тяжёлой зимней одежде,
в грубых шапках,
шарфах,
в рукавицах,
сапогах,
но только для нас.
Ибо друг для друга — обнажены.

ЛАДОНЬ

Двадцать семь костей,
тридцать пять мышц,
около двух тысяч нервных клеток
в каждой мочке наших пяти пальцев.
Этого вполне достаточно,
чтобы написать «Майн Кампф»
или «Приключения Винни Пуха».

К СОБСТВЕННОМУ СТИХОТВОРЕНИЮ

В наилучшем случае будешь,
моё стихотворение, внимательно прочитано,
комментировано и выучено наизусть.

В худшем случае —
только прочтено.

Третья возможность —
сначала написано,
но через минуту выброшено в корзину.

А есть у тебя ещё и четвёртый вариант —
ненаписанное, ты исчезаешь,
довольно мурлыча что-то себе под нос.

ПРИНУЖДЕНИЕ

Съедаем чужую жизнь, чтобы жить.
Свиной труп с покойницей капустой.
Меню — это некролог.

Даже самые лучшие люди
должны что-то убитое грызть и переваривать,
чтобы их деликатные сердца
не перестали биться.

Мне не легко совместить это с добрыми богами,
разве что легковверные,
разве что наивные,
всю власть над миром они отдали природе.
Она же, безумная, ловит нас на голоде,

а там, где голод,
там невинности конец.

К голоду сразу подключаются чувства:
вкус, обоняние, осязание, зрение,
ибо нам не всё равно, что за блюда мы едим,
и на каких тарелках.

И даже слух задействован
в том, что происходит,
поскольку нередко трапезы
сопровождаются весёлою беседой.

Казимеж Бурнат

(1943)

РЕФЛЕКСИЯ

Освобождён
богом не будешь

неведомо даже
встретишь ли его

ПЕРЕЛИЦОВКА ВЕРЫ

Посмотри на себя сверху

видишь много начал
единственный конец

но это ты
остаёшься в вышине

независимо от иерархов
золотым лекарством

* * *

Достались мне ключи
от многих дверей

но вход непостижим
как отражение дна зеркала

* * *

Неустанно
непокоит меня
глубокое прошлое

столько лет

столько лет с тобой
без тебя

это любовь

Адам Загаевский

(1945)

БЛЕЙК

Вижу Вильяма Блейка,
встречающего что ни день
ангелов в кронах деревьев,
Бога-Отца на ступенях скромного дома
и замечающего свет в грязном закоулке,

Блейка, умирающего
с радостной песней,
в многолюдном Лондоне,
городе шлюх, адмиралов и чудес,

Вильяма Блейка, труженика-гравёра,
живущего в бедности, но не в унынье,
принимающего пламенистые знаки
от океана и звёздного неба

и не теряющего надежды, ибо надежда
всегда рождается заново, словно дыхание:
вижу тех, кто подобно ему,
идёт всё более сумеречными улицами
к розовой орхидее рассвета.

ЭМИГРАНТЫ

В чужих городах появляемся на свет,
называем их родными и недолго
восхищаемся их стенами и башнями.
Едем с востока на запад, а перед нами
катится огромный обруч пылающего солнца,
сквозь который легко, словно в цирке,
прыгает дрессированный лев. В чужих городах
вглядываемся в творения давних мастеров
и без всякого удивления узнаём свои лица
на старых полотнах. Мы уже приходили
в этот мир и даже знали в нём страдания,
нам только не хватало тогда слов.
В православном храме в Париже последние белые,
седые русские молятся Богу, ставшему моложе их
на целые столетия и такому же беспомощному,
как они сами. В чужих городах мы и останемся,
словно деревья, словно камни.

ФИЛОСОФЫ

Хватит обманывать нас господа философы
труд не радость и человек не высшая цель
труд это смертельный пот
Боже когда возвращаюсь домой хочется спать
но сон лишь трансмиссионный пас
отдающий меня следующему дню
а солнце подобно фальшивой монете
поутру оно раздирает мои веки
слепленные как перед рождением
мои руки это пара гастарбайтеров
и даже мои слёзы мне не принадлежат

принимая участие в общественной жизни
в качестве ораторов с обветренными губами
и сердцем сросшимся с мозгом
Труд это не радость а неизлечимая мука
как болезнь чистой совести или новые селения
по которым в высоких кожаных сапогах
проходит здешний ветер

ПОРАЖЕНИЕ

По-настоящему
умеем жить только в неудачах,
узы дружбы крепнут,
любовь пугливо поднимает голову.
Даже вещи очищаются.
Чёрные стрижи танцуют в воздухе,
обжившись в бездне.
Трепещут листья тополя.
Только ветер неподвижен.
Тёмные силуэты врагов выделяются
на светлом фоне надежды.
Полнится мужество.
Они, говорим о них,
мы, говорим о себе, ты, обо мне.
Горький чай напоминает вкус
библейского пророчества.
Только бы не догнала нас победа.

Изабелла Филипяк

(1961)

БАЛЛАДА О ДОЗРЕВАНИИ

*И мелодия снуёт на фоне миновавшего разговора
И источник её — музыкальный автомат*

Мы сидели за чаем я и отец
Над столом непринуждённая беседа
Под столом капля крови темнела на полу
Помечая след гравитации

Любила я дважды и обе ушли
Сказал: ты дождёшься своего часа
А теперь буду нежным — и лезвие показал
Дрожащее с багрецом капель собранного урожая

Ти подопрёшь мир мой выстроенный
На барках твоей судьбы
Будь мне далёкой когда ты рядом
Разгорается в печи моей непокой...

Словно кольцом венчальным пальцы мои пленил —
Поцелуем крепким зажёт
Будешь верной мне до самой смерти шептал
И смерть упала с веток дозрела и конец

ОБРАЩАЙСЯ КО МНЕ ШЁПОТОМ

Женщины разговаривают шёпотом
чтобы никто их не слышал
вообще порой трудно поверить что они что-то говорят.

Как можно ближе устами ибо
любят когда от исповедей вольготнее их раковине ушной
Женщины разговаривают шёпотом
находят в том удовольствии
что растягивется вокруг
ежедневно вытканная заново
белая москитная сетка интимности:
от кровати под полками до кухни
от тесной ванной до подоконника.
Не хотят
чтобы кто-то им её порвал.

Разные вещи говорят шёпотом,
если бы то всегда были страстные исповеди
с нежностью о шоколаде с увлечением об апокрифах
горячо о тропических путешествиях
ночью однако просыпаюсь и шёпотом предлагаю
что если хочешь с незнакомым мужчиной, но не
тут, выслушивают это коварно, а потом отвечают,
что не знают почему бы они должны
хотеть чего-то подобного

Женщины разговаривают шёпотом, а потом смеются
во весь голос —

С сербского

Десанка Максимович

(1898—1993)

БРАНКОВИНА

Словно в небо погляжу из-под руки
на село своё в свечение рассвета —
вижу миску расписную в мальвах лета,
вижу пашни — хлеба пышного куски.

И узрю ещё, как в миске той, на дне,
вишни ранние алеют соком солнца,
то румянец кровель в зелени смеётся;
а с холма, а от могилок грусть прольётся,
словно пара голубков порхнёт ко мне.

И в глубинах, распростёртых предо мною,
что-то издали мне искрою блеснёт,
словно свадебный дукат в июльском зное, —
не церковки ли наверхье золотое?
И поля пшеницы, спелых нив приплод...

ГОЛОСА НОЧИ

В ночном лесу витают звуки зла,
как будто стоны старцев гибель кличут,
как будто филин ухаёт и кычет
из логова ведьмацкого дупла.

Ломаёт ветер гниль, крушит сушняк.
А ключ бурливый из-под мшистой ветки
на волю рвётся, словно зверь из клетки,
грызя скалы шершавый известняк.

Нигде не видно даже искры малой.
Над буреломом — чёрных туч угар;
в расщелинах томятся тьмы завалы,

Лишь в сердце пня мертвеет вязкий жар;
и глохнут звуки возгласов молящих
в безжалостных непроходимых чащах.

О ГРЕЧКОСЕЕ

Гречкосей пусть работает на своего пана
два дня в неделю —
день косит с рассвета рано.
второй — пускай за лозой следит,
чтоб был виноградник ухожен, умыт,
ещё один день — ему велено строго
камни таскать на царскую дорогу;
день муку пусть мелет для монастыря,
назавтра же, не тратя времени зря,
новую крышу владычице ладит,
и яко отец его, дед и прадед,

ещё один день, как решено,
готовит под новый посев зерно.
А все прочие дни, оставшиеся у него,
пусть уж работает на себя самого.

БЕЛЫЙ ЦВЕТ

* * *

Мы стояли в лесу, цветущем холодным
цветом.
Ветви, целомудренные, словно птицы и не жили
на них, молчали вокруг.
Тропки, как девушки, улыбались в длинных
серебряных шаях.
Повсюду больно смешивались явь и сон.
И он, заглядывая мне глубоко в глаза, с печальной
улыбкой стряхивал белый цвет с ветки,
играя ею.

* * *

Никто не знает, что мы были одним потоком,
раздвоенным на рукава горами.
Никто не знает, что были мы одной флюярою,
разломленной чабаном по зову печали.
Никто не знает, что мы были островом в океане,
разделённым надвое стремительным течением.

РАЗЛУКА

* * *

От меня до него дойти можно только мостом
радуги.

От меня до него доплыть можно только озером
лунного света.

От меня до него долететь можно только серебряной
и стремительной тропой птицы.

Мосты, речки и дороги, которыми ходят люди,
его обходят. Он, как солнечный пламенный остров,
сиянием отделён от всего мира.

* * *

Тяжело оставлять друга в печали на пути.
Вокруг смеются люди, взлетают белые платки.
А он и руки не поднимет от боли.

Тяжко оставлять друга в печали в апрельский
ласковый день. Вокруг, рассыпавшись на холме,
искрятся звёзды первоцвета. Первые гнёзда
греются на солнышке. А он и не видит их
от боли.

Тяжело расставаться с другом апрельским днём.
Серебряные колокола весны плывут вдоль реки,
сияют шелка молодых мхов. Вокруг всё ждёт
чего-то, всё на что-то надеется.

Только он, как одинокое весной сухое дерево,
стоит при дороге.

Момчило Джеркович

(1927)

ГОЛОС

Исчезая, колокола боли
провозвестниками вернулись
Остановилось сердце сердца,
Ладонь зари прожглась.
Темнотой наполнились глаза,
открылись в камнях раны.
Воздух не умеет дышать,
звук угасает, как костёр.
Куда делись провозвестники —
что будет с болями завтра?

ПРОМЕТЕЙ

Бунтарь к миру стены
прикован узлами оков,
в клюве страшной птицы
цветёт его кровь.
Огня он не выпускает,
чтоб не упал, не угас.
Жертвою быть стыдится —
гонит орла всякий раз.

ВЗОШЛО В ЛАЗУРИ

Взошло в лазури
красивое жёлтое солнце.
С мужских лысин прорастают
колоски и розы.
И чеснок, словно полдень,
вылупливается из солнца.
Не узнать, откуда ветер
приносит запах дождя.
Земля и семена
тешатся любовью.
Звук возникает и исчезает,
весь в тишину переходит.

Владимир Ягличич

(1961)

* * *

В воздухе родины, отчего края
дышит поэзия, — пусть неосознанно, —
только в минуты прощанья сжимая
сердце — печалью и ласкою позднею.

А с каждым новым свиданием празднество
полнится солнцем шмелиного пения.
Здравствуй, Шумадия, песня и здравица!
Здравствуй, и вдох мой, и сердцебиение!

Буквы, над лугом сияя соцветьями,
шепчут спасенье нам — кем бы мы ни были.
Не потому ли рассветами летними
мгла осеняет их головы нимбами?

Здесь вдруг услышишь в тиши одиночества,
как в озарении, словно до опыта,
некие почвенной глуби пророчества,
то, что — до Тацита, то, что — вне Оксфорда.

Вещи здесь мечены целью и сутью:
судно в порту, и Икар приводняется.
Греет наседка свой выводок грудью,
бабушка, глядя на них, усмехается.

Листья шумят неустанно, вещая
новые тропы. В дремотном подлеске
ал и улыбчив боярышник, зная:
всё здесь надёжно, всё точно на месте.

* * *

О Боге ничего не знаю.
Одно лишь очевидно: гений.
И, суть Его не приближая,
уходят вдаль ночные бденья.

И гладь морей, и хаос горный,
и летний луг в цветенье пенном —
всё это Он творил упорно
в своём сиротстве вдохновенном.

А люди? Неуютно с ними —
за своего не принимают
и фарисейской лжи во имя
на крест Спасителя бросают.

И словно нищий возле церкви,
жду то, что вряд ли мне судилось:
любовь, чьи очи не померкли,
далёкой чаровницы милость.

А ночью вновь меня разбудит
мой стих — не «дважды два — четыре».
За этот грех меня осудят,
но не сейчас, не в этом мире.

Реальность — отблеск сновидений:
круги, пути в надежде зыбкой.

Мы ропщем. А рабочий гений
творит грядущее с улыбкой.

ГОРИЗОНТ

Открывал, и не раз, я избушки оконце,
что глядело на плавность холмов впереди,
на картинку-открытку в обилии солнца,
чей уют нас от гибели мог бы спасти.

Но взметнулась жестоко смертельная битва,
каждый день обращая в предгибельный фронт.
Заколочены окна. Умолкли молитвы.
Избы кривы, мертвы. Жив один горизонт.

* * *

В тряпках особенных брендов,
с ядом лекарство мешая,
раса, на все сто процентов
чистая, круг завершает.

Лжи, лицемерия раса,
жизнь свою в глупом азарте
губит, с надменной гримасой,
в мареве спорта и партий.

Лошадь под всадником где-то
пляшет, и блещут их латы.
Мудрому внемля совету,
смотрит Платон на Сократа.

Мать, среди хрома и марли,
с криками боли рождает.
Ниже, в больничном подвале,
смерть свою дань поджидает.

И под чердачную крышей,
тих, продолжает служенье
вестник, от мира укрывший
лучших стихов завершенье.

Тезис надгробья дописан.
Ветер — души не догонит.
Стих, что вчера был непризнан,
мир откровеньем дополнит.

ЭЛЕГИЯ

Ожидая Йована Дучича

Позволь, земля Святого Саввы, вернуться сербскому поэту,
тому, кто не избрал изгнания, но испытал его сполна.
Прими его сыновню душу, и в облаках, в потоке света,
пусть рядом с белым серафимом, крыло в крыло, летит она.
Час наступил. Поэт изгнания, растаявший в дыму
пространства,
не виделся уже полвека с родной землёй. Но вот — уму
и сердцу странника прощенье, вот сыну блудному
лекарство —
день истинного возвращенья к себе, к истоку своему.

Сполна устав от груза комьев чужой земли, бездушной
почвы,
он наконец спешит в объятья своих домашних и родных,

в объятья тех, кто слышит сердцем его сонеты в час
урочный,
кто чувствует и понимает его золототканый стих.
Спешит туда, где ангел снимет плиты надгробной
заклинанье,
туда, где строк цветы и стебли сольются в радужный букет,
чтоб избежать удела тёрна и глаз чужих непониманья,
чтоб на вопрос зерна о смерти алел цветущих роз ответ.

За светлый призрак возвращенья полвека мечены тоскою,
четвёртый год войной дымятся селения родных земель.
Так на реке столкнётся бурно волна со встречною, другою,
чтоб в усмирении течения осуществить потока цель.
Мы ждали дня, не проклиная ни сына блудного, ни фата
салонного, ни дон-жуана, ни бессердечного отца,
поскольку знали, что поэта и звонаря ведёт к нам фатум,
тебя — восставшего над смертью, всевидящего мудреца.

И ты придёшь, хоть хрупкость мысли сквозь трезвость
утра постигает,
что вряд ли нам вослед тоскует родных пейзажей череда.
Так знай, что твой приход есть радость, в которой грусть
не исчезает,
поскольку многие из званных и ныне не пришли сюда.
И тот, кто слал тебе презренье и отлучение навеки,
теперь уже постичь способен твоей духовной силы смысл.
И может, мы с тобой вернёмся к любви — и в каждом
человеке,
и в этом одиноком мире, что исчезает в бездне числ.

Пусть зазвонят тебе навстречу родные звонницы Захумлья!
Пусть плакальщицы, жёны скорби, сойдутся над тобой
гурьбой.
Пусть с нами наша боль и гордость и наше чёрное безумье
объявят ныне о победе, взлетев над вязкою землёй!

И ты, кто знал чутьём пророка, как тяжело, опасно, зыбко
нам будет в новой той погоне, где прежний ужас оживёт,
усни спокойно! Над тобою, играя, с яркою улыбкой,
босые сербские мальчишки промчатся по траве болот

требиньских. И тебя услышат те, кто имеет слух и душу,
понеже патриарха взлетит поверх колоколов:
«Что привело ко мне вас? Страх ли меня зовёт ваш, иль
хуже —
власть победителей? Иль верность священнодействию
отцов?»

Меня вы больше не ищите — ни за холмом, ни за рекою.
Я возвратился, чтобы дальше плыть над земною пеленой.
И пусть меня не отделяют от неба, от его покоя
и от земли обетованной, земли, единственно родной.

Стихотворение возникло после решения возратить из Америки прах Йована Дучича, сербского поэта, в родной город Требине, в Герцеговину, в Республику Сербскую. Там, на горе Леутар, воздвигнута церковь, в которой он теперь лежит.

Земля Святого Саввы — и метафизически, и физически. Святой Савва родился в Герцеговине.

Половина века — пятьдесят лет прах Дучича лежал в Либертвиле.

Четвертый год войны — стихотворение написано в середине девяностых годов, когда в Сербии шла война.

Захумлье — старинное сербское название Герцеговины.

Чутьём пророка — многие стихи Дучича оказались пророческими.

Блудный сын, салонный соблазнитель, бессердечный отец — из частной жизни поэта Дучича; он долго был салонным поэтом, другом ко-

ролей, дипломатом, человеком, разрушавшим браки, отцом, который не признал своего сына, совершившего в дальнейшем самоубийство... А в конце жизни стал убогим изгнанником в Америке и — великим поэтом.

Плакальщицы — рыдающие на похоронах женщины, по образцу античных трагедий, по-сербски — нарикаче.

ПАМЯТЬ О ВОССТАНИИ

Спокойно всё теперь, в земле и на земле,
покой и мир царят в отчизне долгой тени.
И радуемся мы, просторней и смелей,
деревьям и плодам, и даже зёрен тленью.
Смиренная земля не произносит вслух
пророчеств, что порой ей слышимы в полслова, —
о том, что лишь любви бывшего мира дух,
исчезнув под дождём, готов открыться снова.

Не сразу различишь в родимой мгле густой —
хрип боевых коней и панцирей мерцанье,
и сербских молодцов в отваге молодой,
и, сквозь румянец сил, о жертве прорицанье.
Не сразу разглядишь — не удержишь их ход,
безмолвен их полёт в пространстве, брат за братом,
в те долгие луга, где мир героев ждёт,
где вечность славы льнёт к их серебристым латам.

Истории иной и не было у нас,
лишь та, что пролилась на землю с тяжким ливнем.
Народ суровых правд, мы свой иконостас
страданьем утвердим и боль за благо примем.
И чувствует душа, что доля смысла есть
и там, где свет надежд не тешил нас отвеча.

Кто жертвует собой — тот в будущее весть,
тот входит в новый мир — Синжделич, Райич, Велько.

Танаско Райич, Хайдук Велько и Стеван Синджелич — вожди Первого сербского восстания

ОЗЕРО

Гордане Б. Тодорович

В тот день, уже на смертном ложе,
Вы книгу Мура в руки взяли.
И тихо, словно жизнь итожа,
мне том на память подписали.

«И в каждом сердце — я читаю —
хранится шум волны озёрной».
Я молод был, ещё не зная
тех вод, незримых априорно.

Вы ныне — плеск озёрной тайны.
Глаза отражены глазами.
Вы не ушли и не случайно
Вы — здесь, на берегу, Вы — с нами.

ОН

Через парк, от суда и до почты,
я гуляю, неспешно, во фраке.

Загляну в вашу комнату, точно
глаз кошачий, фонарик во мраке.

Летний вечер. Игры моей зона —
бутики, супермаркеты, банки.
Под оркестр, под рекламу неона
снова глажу плечо горожанки.

Если ж дождь, словно боль головная,
во все окна стучит неустанно,
«Торопись воплотить — заклинаю —
человеческий род, мои планы!»

Вот на танцах, субботнею ночью,
я всех хлопцев в красавиц влюбляю.
И, с усмешкой в невестины очи,
жениха на войну отсылаю.

Вы, кто старше, глазами в экраны! —
В разноцветье бездумного счастья,
в представления политикана,
в лицемерные рассказы власти,

в поп-певиц, в шарлатанов-пророков,
в тех злодеев, что выбились в судьи,
в финансистов «прозрачных» потоков.
Все они — мне послушные люди!

Не перечь мне, дитя, резким тоном,
не суди, а послушай совета.
Посмотри на моих компаньонов:
академики, в лаврах поэты.

И лишь там, где над крышею храма
крест стоит, я шаги ускоряю.

А за мною, без страха, без срама,
хвост волочится, след заметая.

ХОЗЯИН

И в праздник Крестной славы ото сна
поднимет ночь меня негромким зовом.
В букетах звёзд, небесная страна
не спросит о пути моём ни словом.

Увижу вновь порог, под ним змею,
притихшую на камне в чуткой дрёме.
В траве двора узнаю тень свою
и шаг минувший свой почую в доме.

Опустят тёмный занавес немой
и тишина, и голос эха странный.
И перед тем, как я вернусь домой,
замру, застыну, словно и не званный.

Чтоб шорох из гостиной услышать,
согреться вновь слезой свечи о Боге
и чтоб открылось благо мне опять:
калитки скрип — под ветром от дороги.

*Крестная слава — праздничная дата, нечто сродни русским именинам.
Каждый дом в Сербии помнит своего святителя и славит его в ночь
Крестной славы, собирая родных и друзей за столом с угощением.*

*Праг — распространённое в Сербии верование о том, что под каждым
порогом в доме спит змея, охраняющая дом.*

ТЕСЛА

На говор грома, на вопрос природы
сверкнёт в электрокабеле ответ.
В прозрениях мага — проблески свободы
над мраком. Но предела спору нет.

И он поймёт, что в нём душа эфира
живёт, и откровением звучит.
И надо ль умножать упрёки миру,
когда лишь Дело правду утвердит?

Всех демонов, что дом его сжигали,
пронзит он, в медитации, насквозь
О бедный гений! Длится путь реалий
сквозь темноту, где каждый — только гость.

В величии и в ризе покаянья
идти ему — вне Святости ночей.
Не людям о своей шепнёт он тайне,
но лишь голубке белой на плече.

Лишеньем пола сблизив Ур с Ростовом
и Колорадо с первым светом дня,
он — вестник мировым первоосновам,
Серб Господа и звёздного огня.

КАПУСТА

Неспешно выросший качан широколистый,
готовый к сечке туготелый шар хрустящий,
засола ждёт, когда на бочку крест плечистый
положат сверху и пудовый камень — к вящей

и пущей верности. Квашенье — род искусства
(что лишь немногим знатокам сулит удачу).
Пока что снята с гряд и сложена капуста
и бочек ждёт своих, покрепче, побогаче.

И вот, посечена хозяйскими руками,
в день остывания осеннего светила,
умножась в сущности своей под тесаками,
она несёт в себе достоинство и силу,

готовность к жертве без малейшей тени грусти —
под бодрый стук, под золотистый отблеск кадки.
Какая мудрость в этих головах капусты,
всё отдающих — ныне, здесь и без остатка!
Всё обретающих в осеннем онеменье,
всё то, что отдано без страха и сомненья.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Редко, с рассветом, такие стихи прилетают,
одновременно и мраморны, и невесомы,
те, что загадкою мучат и дух наполняют
разом — и смертною мукой, и счастья истомой,

разом — и твёрдою верой, и бунтом неверий,
некой единою вестью из ада и рая.
Словно из сканеров, компов продвинутых серий
и из там-тамов, и с луга стоцветного мая,

словно из русской зимы, из ведической притчи,
из Гильгамеша, из снов ясновидца Гомера,
ноты напева летят, человечьи и птичьи,
отзвуки гулких глубин неопознанной сферы.

Из жития возникают, из охры пещеры, —
то в них Колхида и Анды, а то Гималаи, —
цветом различны и формой, и точностью меры,
но бесконечны всегда, прозорливы без края.

Из сегидильи Иберии, из бугарштицы,
саги, чуляндры, из нежной печали Альгамбры
смысл прилетает, напев человека и птицы,
и затихает дыханием лавра и амбры.

В ГОРАХ

10.

Как лёгок голос твой, осенняя цикада!
От тёплой полосы бетона под окном
сквозь сумрак он летит. И в мире, полном лада,
смолкает лишний стих, смирённый полусном.

Вот вечер, где сонет в сонате умирает,
где каждый малый такт — прощальный взмах руки,
где преданность зрачков мой взор во тьму роняет,
а нот твоих ключи — строги и чуть горьки.

Прощанье — ток минут, стеклянная воронка
невидимых часов. Но доверять ли мне
пространству, что поёт неуловимо-тонко,
но с холодом судьи, но всё-таки извне?

Ведь солнца детский дар — всё обречённой ныне,
дионисийский плод прикрыли облака.
«Спасибо и прости» я говорю святыне,
что осенью умрёт для майского цветка.

Позволь же взять тебя в ладонь, как каплю влаги,
и к уху поднести, чтоб отзвук давних сил
поймать. Чтоб без чернил, без версий на бумаге
я будущее, вслед уходу, ощутил.

Не бойся же уснуть на высшей ноте трели,
певунья. Дни без нас настанут вне обид,
ведь были мы собой и, что судилось, спели.
И нас осенний сон, чем сможет, защитит.

24.

Всё может быть поживою для глаза —
скамейка, кран с водой, цементный бюст.
В веках не предал своего ни разу,
но образ тот же — радости искус.

Всё может стать до мелочи знакомым,
край, где не жил ты раньше никогда:
или настолько стал тебе он домом,
что можешь ты забыть к нему врата?

Как на благие зовы упований,
что возвращают нас себе самим,
сойдёт Христос с креста в нирване ранней,
и Адонис восстанет рядом с ним.

Теперь, во взорах эллина и Бога,
яснеет, отражаясь сельский храм.
Словно цветное марево Ван-Гога
ждёт безупречно-твёрдых линий рам.

ДАРЫ

Миловану Беконьи, скульптору

Когда проводишь друга — снова, снова! —
в нездешний мир, в загадочную тишь,
закрывшись в мастерской, не помня слова,
с немym резцом опять заговоришь.

Но все шумы, весь хаос многоликий
в затворничество целятся твоё —
шаги влюблённых, фар вечерних блики,
околичное, с лаем псов, жильё.

Пусть гул толпы бахвалится победой.
Но надо было с демоном сойтись
в единоборстве ради правды этой —
искусства, светом полнящего жизнь.

И пусть друг друга рвут они на части,
ни разума не помня, ни стыда, —
и те, кто рвутся к вожденной власти,
и те, кто должен уступить места.

Ты знаешь: шум машин, надменно-сухо
звучащий, страсти зов, поход во власть —
всё это — не от сути, не от Духа,
и, как вселенский прах, должно отпасть

перед смиренным обликом иконы.
Все лжи слои осыпаться должны
пред вечным, перед тем, что ждёт исконно
на самом дне духовной глубины.

И только тот, кто наших слёз достоин,
кто прожил и ушёл как человек,

вернётся в некий час, поэт и воин,
чтоб с мастером вдвоём назвать свой век

по имени. Взгляни же миру в очи,
ваятель, чтоб в резце себя нашла
надежда, чтоб Судья небесный зорче
вгляделся в штрих-пунктир добра и зла.

Чтоб в дереве, металле или камне
прошли бы пред судом Его седин
тысячелетья следом за веками —
пешком, бегом ли, «формулой один».

В счастливой силе дня ты и не вспомнишь,
что слаб и наг, что на две трети сед.
Лишь в мудрой одинокой думе полночь
шепнёт, что каждый свой оставит след.

И этот след на вязком бездорожье —
итог трудов резца и мук пера.
Свой нежный дар Христу и плану Божью
несут сквозь скудость мира мастера.

Несут сквозь казнь бездушья и бездумья
отвагу и отзывчивость сердец,
дабы, итожа счёт жестокой сумме,
простил хоть часть стадам своим Отец.

ТАЗ

Во дворе, возле крана с водою, почти у забора,
долгий век доживает посудина старого таза.
Он служил ещё бабушке, помнится, в прежнюю пору,
а теперь в его чаше герань расцвела яркоглазо.

В нём купали меня. И касались Господнего чада
Иорданские воды в купели его допотопной.
Потому нам доньше, за слабую веру награда,
льются ливни с небес, над асфальтом, над грядкой
укропной.

И хоть мухи жужжат над отжившим железным сосудом,
всё искрится его оцинковка под солнцем средь зноя.
И смирившись с кончиной своею, с часов самосудом,

он и участи нашей крупницы уносит с собою.
Он, кто первым узрел наготу нашу, Божью убогость,
омовений родительских помнящий нежность и строгость.

СЛАБОСТЬ

Узлы в мышцах, тромбы в венах,
гематомы у сухожилий и спазмы в икрах ног.
А сердце, сжимаясь словно ягнёнок в хлеве,
(тахикардия)скачет из депрессии в стресс.
В моём физическом исчезновении преломляется замысел
мира. И уже напрасна доверчивость к другим снам:
когда внезапно, словно огнём крапивы, обожжёт
прадавняя и моложавая непредсказуемая ярость.

Только бы не прозевать мне автобус. Тот голубой,
запылённый, забрызганный чёрной болотиной,
тот, с порезанным и рваным, заштопанным сидением,
со стариком кондуктором, которого я уже старше.
Чтобы сел я у окна и поздоровался с мимолётным домом,
чтоб увидел луг, пахучую ниву и стерню,
чтобы заметил лица, ещё не испорченные злостью,
в которой больше не трепещет мудрое слово.

А потом, чтобы вышел наружу — где? — в Крчине,
например,
заглянул на сельское кладбище (рядом с торговой лавкой),
чтобы какое-то дитя сказало «добрый день»,
а дальше, чтобы погрузился я в травы, холмы, долины,
потерявшись навеки в чём-то невыразимом,
убийственном и целительном, судьбоносно витающем
над невозможностью плана, над ежедневной арендной
платой,
в невыразимом, пределы чего я утратил, но что меня ещё
любит.

Там бы я, там, ободрился, сидя под ветвистым деревом,
вглядываясь, как солнце входит в меня,
пробуждая в моём теле незнакомое ещё существо,
чтобы и оно, пусть слабое и крошечное, стало истоком,
сплетённым в новорождённой мгле
с неосознавшими своих сил, неколебимыми лесами,
с которыми я стану единой семьёй,
не зная несчастья, ужаса, разорений и изгнаний.

Там бы мне умереть, в той придуманной стране,
где на поле опадает несуразность колючей ограды,
среди кудрявых подлесков, на ровной покоса стерне,
там, где в воздухе слышатся новых сонетов цикады.
И если не сыщется для меня шалаш там, гордый, ничей,
если напомним болезнь, что по тонкому всё и рвётся,
если станет на пути моём целая палата врачей,
всё же последним усилием воли дух мой туда вернётся.

БОГ СКАЗАЛ

Имени отца своего не знаю.
Головы братьев — на кольях острых.

Мать моя — дыма река без края.
А младшие сёстры — на дальних погостах.

Друзья мне — крапива да дикий тёрн.
Любовь — это то, чего не бывает.
Бутылка плывёт, без записки, средь волн,
и ветер морской её подгоняет.

И Бог сказал: «Живи, если жив,
и душу свою не сгуби в изменах,
куда бы ни звал тебя плоти порыв.

Ты — прах среди прахов бессчётных бранных.
И трон ли получишь иль в дырах суму,
не смей, не пытайся спросить — почему.»

МИЛОСТЬ

М. Янковичу Мидже (1932—2100)

Сел мужик на треножник в прекрасный Господний день,
хвост коровий к ноге подвязал — хлопотать не лень.

Доит вымя парное и полнит ведро молоком,
только вдруг опрокинулся, рухнул у яслей ничком.

Это было вчера, а сегодня слышно: «Ну вот,
наконец-то от дум и забот старик отдохнёт».

И свеча на столе слезится, и катится воска сок,
и покойника бороду подвязал атласный платок.

После тяжкой работы родные стоят над ним,
лёг хозяин чуток вздремнуть, лежит недвижим.

Тридцать лет я здесь не был, блуждая в добре и зле,
не был близко, вплотную к смерти, к родной земле.

Тот же дом невысокий, где жизнь человека трудна,
только трещин погуще и вспучена больше стена.

Тридцать лет промелькнуло, как будто ладонь о ладонь,
и сияет над днём похоронным небесный огонь.

Может быть, я живу в глухоте, словно в некоем плаще,
в слепоте, в непроглядном сиротстве людей и вещей,

где, явив свою милость, отбросив прозрачную тень,
смерть приходит мгновенно в сияющий дивный день.

ОБОСНОВАНИЕ ОТСУТСТВИЯ

А мы с Борой Хорватом отсутствовали как мёртвые,
пребывая в иных краях — посущественней, поважней.
Не было с вами нас, лишь посмертные абрисы лёгкие
на земле мы оставили. С ветром минувших дней,
с ритмом его искали гармонию строки наши,
чтобы не каждый понял слова, но голос любой узнал.
Жить — тяжелей, но поётся — всё легче, всё дальше.
Вот и забудьте о страхе, вы, кто нас услышал.

РАЗГОВОР

Николе Живковичу

Дух германский взявший за основу,
славянин по сердцу и уму,
издали пришёл ты, чтобы снова
возвратиться к долгу своему.

Ты принёс рассказ о мощном звуке
Вагнера, где смерть любви равна,
и о Ницше, что верней науки
ведал змей и грифов имена.

Говорили мы весь день с тобою
о путях Европы и о том,
кто какого миру дал героя,
взмывшего над временем мостом?

Вслушивались в собственное сердце —
где мы ныне? И коль Дух един,
как сравнить железный гений немца
с нежной силой музыки Апеннин?

Где теперь в духовном изобилье
мира наше место, где наш след?
Всё ль идти нам к сумрачной могиле
по распутью иль забрезжит свет?

Нам и дня с тобою не хватило,
вслед и ночь, грустя, к исходу шла.
Было жаль родной земли, что силы
собственной ещё не поняла.

Потому что сын забыл об отчей
вере, колыбель забыл мертвец.

Или нам судьба — слепые очи
пагубных вождей, глухих сердец?

МОГИЛА ВОЛОШИНА

Там мысль летит вдогонку за стихами.
Там, в Киммерии, нужно жизнь прожить,
пройдя пешком холмами и горами,
и притяженье почвы полюбить.

И там, когда в одно большое время
сольются все пунктиры зим и лет,
ты в чуде смерти, в каменном Эдеме
поймёшь — лишь имя есть, а плоти нет.

Иди же ввысь, пока земною осью
поблескивает посох твой в пути,
И холм могильный Макса встретит гостя

уже небесным воздухом в груди.
И силу даст, от почвенных щедрот,
чтоб продолжать и снов, и яви ход.

СОЛНЕЧНОЕ УТРО

Едва рассветёт, ощутишь себя солнца собратом.
А воздух невинностью и наготою девичьей
сияет. И брызжут булыжники улицы златом,
и клювы дверей отворённых зевают по-птичьи.

Жара вызревает, и кажется, в ней оседают
все отзвуки давешних споров твоих и сомнений.

А тело и крепнет, и словно покой обретает
на розе ветров, на распутье, развязке сплетений.

Твой разум уже отстаёт. Есть дороги прямее.
Дрожит мошкарá по пути в световой колоннаде.
И сонмы жужжащих существ, мириады-пигмеи

роются над утром единственным, млея в усаде.
И мир — это сон, и предчувствиям внятен не хуже,
чем явь. Ибо сон — тем реальней, чем глубже.

САД

Эти ягоды отчего сада румяные
есть теперь не могу. Но глазами любви
вижу я, как пульсирует в них неустанное
первородство земной материнской крови.

Этот сад ободрит ещё душу цветением,
продолжением тех многотрудных побед,
где соха и мотыга продлятся струением
вен дождя, где спасенья для семени нет.

Со скамьи поднимаясь, гуляю по саду я
и себя в самой дальней из ниш нахожу
бесконечного мира, весеннего лада я,

и не запахом новых плодов дорожу,
но свеченьем, сквозь воздух, родительских глаз,
жизнь проживших со смыслом и не напоказ.

СТУДЕНТЫ

Выходили мы, будто из чрева пещеры,
из натруженных каменных стен факультета.
И тетради стихов, неким символом веры,
мы держали в руках Большинства уже нету
на земле средь живых. Это смерть распахнула,
разметала крыла — словно шелест бумажный,
за спиной прорастающий, время взметнуло.
Но в тот полдень мой юный, влюблённо-отважный,

так она выходила, на склоне семестра,
так светилась, тетрадку к груди прижимая,
что казалась сестрой темнокошою ветра,
что будила цветы на всех ветках средь мая!
Проходила, и город вздыхал полногрудом,
и, казалось, лишь воздух нас соединяет.
Я завидовал бёдрам, косе её — чуду,
что не будет моим и ни чьим не бывает.
И я думал, что эти белейшие зубы,
стать её, в нежнокожей светимости ранней,
тайно ждут перелёта, чтоб ангелов трубы
окликали её для небесных касаний.

Шла она, и был город её отраженьем,
провода телеграфа осанну ей пели,
и лягушки в болоте дурманились пенем,
и стреляли зрочки её точно по цели.
И с реалий слетали вуали, а бронза
изваяний входила в рифмованный опус.
Все движенья её, поворот её торса
совершенный являли, единственный, образ.

Молодыми богами, неся свою святость,
сквозь пространство тех дней мы вдвоём проходили
И оставив внизу отчуждённости тяжесть,

воспаряли на вздохе. И белые крылья,
исчезая в искомой небесной отчизне,
оставляли божественных смут отпечатки
нам, не смеющим соединиться при жизни,
нам, несущим предчувствие в нерве сетчатки,
сквозь зиянье смертей и времён притязанья —
красоту, чудный сон за пределом сознания.

Потому и теперь жив во мне прежний трепет,
стоит мне лишь пройти мимо стен факультета.
Не мешает ни страх, ни забвения лепет,
и куда б я ни шёл, — во все стороны света, —
где бы я ни блуждал, прихожу без укора
к тем же встречам, что снова — реальны, и зыбки.
И всё жду твоего неизбывного взора,
всё ищу состраданья небесной улыбки.

ДОМ ИЛЬИЧА

Всегда твердые, никогда не склонённые,
перед бурями, как суровый дуб.
Кто мог нас увидеть на коленях,
и кому мы продали свою честь?

Драгутин Й. Ильич

Нет больше ни Ильича, ни их дома. Остался
только просторный сад и в нём одно старое дерево
ореха со склонёнными ветками. Этот орех, в чьей
тени иногда собирались Ильичи и их друзья,
стоит ещё и теперь, уединённый, с обломанными
ветвями, как будто скорбит и говорит нам о наших
писателях девятнадцатого века.

Воин Пулевич

То был белостенный приземистый дом,
каких так немало в Белграде.

Там четверо юношей строгим отцом
воспитаны подвига ради.

В гостиной их — пол из медовых досок
и над оттоманкой картины,
ореховый стол и часов шепоток
над полками книжного чина.

А рядом — «Семь швабов», трактир, гомонил,
где Якшич полотна развесил.
И если сюда без гроша заходил
поэт, то и сыт был, и весел.

О Ильича дом! Ты — и хлеб мой, и соль,
и кров пред житейской грозою.
Здесь постную ел я на завтрак фасоль
и вновь согревался душою.

Здесь Янко и Лаза над кругом стола
и Глишич, и Слемац, и Яша
сдвигали стаканы и память жила
о боли и доблести нашей.

И длилась беседа — о всех новостях,
о чести креста и о змее,
о гнёте Босфорском, о жалких властях,
о сербской бессмертной идее.

И длилось под сенью садовых ветвей
наследников Ильича пенье,
и с мёртвой Тайиной шептался своей
Воислав, наш сумрачный гений.

Теперь там под ветром осенним листья
тревоги полны и истомы.

И убыло в сердце родной красоты —
не стало заветного дома.

И только последний орех в том саду
шуршит еле внятной молитвой,
как страж тишины, провожатый в мечту,
как в век 19-ый гид мой.

О путник, у дома, которого нет,
замри в благодатной печали.
Икон на крыльце непогашенный свет —
узри. И ступай в свои дали.

МЕЖА

Тем летним утром солнце встало рано
и спряло золотую пряжу споро.
В тот яркий день на ум пришло Йовану
поставить на меже столбы забора.

И с проволокой, с бухтою колючей
стал Йован на меже на пару с зятем.
Семейной злой обиды, тёмно-жгучей,
с похмурых лиц не смыть и не согнать им.

«Зачем же, Йован, — грянул голос брата —
отрезал ты моей земли полметра?»
И взвился над межей клинок булата
с коротким свистом жалящего ветра.

И прибежали люди в Божьем страхе
к меже, где тишина сгущалась грозно.
И брат стоял в разорванной рубахе
и в сердце бил себя, но было поздно.

И умер Йован в братовых объятьях.
уснул под пряжей солнца золотую.
И только небо ведало о братьях —
что нет межи, лишь вечность за межою.

БАССЕЙН

В сентябре обезлюдел бассейн. И по глади воды
три листка проплывают, купальщиц былых заменяя,
откупавшихся в августе. Лишь на ограде следы —
полотенца, забытые их отлетевшею стаей.
Если ветер подует чуть крепче, почувешь ясней,
сколько дней растерял ты за месяц, за месяц всего-то.
Впрочем надо укутаться. Ноет под зябкостью дней
незалеченной раны глубинная долгая нота.
В ресторане и в шахматы можно играть возле самой воды.
Только не с кем. Все стулья пустуют. И вовсе уж плохо
с появлением приезжих. Надежды сезона — пусты,
и осталось от лета не больше последнего вздоха.

И его Ты возьмёшь у меня, Господин. Но позволь
опускать мне пока что в бассейн и лодыжки, и пятки,
соглашаясь на роль в эпизоде. Ведь главная роль —
время, легче пера, но берущее всё без остатка,
без отдачи, без жалости. И где-то там, в пустоте,
горловые дрожат и беззвучно вибрируют связки.
Так позволь же мне кануть в пространства надёжные те,
как под воду ныряльщику, и без малейшей опаски.

Вот и дверь закрывают. Закатный густеет покой.
И хорошенькой официантки глаза заскучали —
прикурив сигарету, качает скрещённой ногой
на пригреве вечером, на стыке тепла и печали.

И твоя бы рука прикоснуться к колену могла,
но движенье упрятано в плен пеленою бетона.
И куда бы в итоге случайность-игра ни пришла,
здесь, на стыке миров, ты найдёшься. Земные дела
за предел отрицанья выводят. И выдох тепла —
может, больше, чем надо тебе, на уклоне сезона.

* * *

Тёмным утром, когда наплывает замедленный дождь,
понимаю, что путь мой проляжет теперь через капли.
Даже если и стихнет их ритм, от него не уйдёшь,
ибо звук из глубин — это точность без слова, не так ли?
Мокрый ветер порывом дорогу в ветвях прочесал,
в растерявшем и листья, и память притихшем подлеске.
И дорога Спасителя ждёт, чтобы присных позвал,
чтобы в каплях глаза Его рыб обозначились в блеске.

Со словацкого

Андрей Плавка

(1907—1982)

СЛЫШАНИЕ

Дома мне говорили:
Андрейка, погаси лампу, —
ночь уже,
и все приличные люди спят.
Вот так я стал неприличным
на долгие годы,
до самой старости.
Теперь никто мне не скажет:
Андрейка, погаси лампу.
Все приличные уже умерли.
Но — светает!
И жив ещё поэт.

ОТЛЁТ ЛАСТОЧЕК

Ещё один хор,
ещё один последний напев,

пока горизонт
не сложит крылья в печаль.
Моё гнездо,
слепленное из грязи
под крышею небес,
уже начинает чувствовать
тёплую страну.
За селом
копают мне «швабочку»,
над ботвой уже поднимается дым.
За щебетом, за красотой
всегда приходит прощание.
А что там дальше, у осокоря?
Кротость моя непокорённая.

Павол Горов (Горовчак)

(1914—1975)

ВЗГЛЯД С ВЫСОТЫ

Альп осенних утренние гряды. —
Скальные стоглавые химеры
облачились в снеговые латы.
Щерит ящер клык. И блик баллады
брезжит на челе Аполлинера.

Словно лбы мыслителей, вершины
держат высь космического плана.
Радуга стиха — не хвост павлина.
А поэт — гранит и млечность глины,
и снега целебные на рану.

ОСЕНЬ В ГОРОДЕ

Помеченные кровью рты —
багряной осени потери.
Темны бульвары и пусты,
но я в огни восстанья верю.

Вот грозным рокотом рабов
тревожно полнятся предместья.

И местью веет от оков,
не сгубленной в неволе честью.

И каждый смертник — брату брат
там, где сквозь долгие секунды
горят в отваге баррикад
карминовые ветви бунта!

Со словенского

Лайзе Кракар

(1926—1994)

УКРАДЕННОЕ СЕРДЦЕ

В полночь весь город — созвездий обитель.
Стража на башнях боролась со сном.
Шёл я по зябким камням, похититель,
пьяный волшебным любовным вином.

Вдоль переулков, под звёздную притчей,
шёл я, разбойной окутанный тьмой,
тать, осчастливленный редкой добычей, —
сердце твоё уносящий с собой.

ЗЛОДЕЙ НА ПЕНСИИ

Преступник седой благоденствует. Рентой
доволен в добротном костюме старик.
Покой. Мемуары. Из банка проценты.
И школит он внуков, и холит цветник.

Убитые им, из астрала иного,
с печалью глядят на беспмятство дня.
...А внуки злодея, без лишнего слова,
берут на прицел — и тебя, и меня.

С хорватского

Юре Каителан

(1919—1990)

УСНУВШАЯ ГИТАРА

Пусть ветер коснётся тебя невесомой ладонью,
разбудит, певунья-гитара, рассветной порою.
Пусть ветер, напившийся хмелем маслины спросонья,
разбудит тебя — серебристой, зелёной игрою,

гитара, уснувшая в чёрных слезах Леопарди.
О, мёртвая ласточка, алый обломок коралла!
У самого моря, в пустой далматинской мансарде,
ты — гроздь винограда, ты — ветка шипов астрогала.

О, песня, невеста-гитара, средь пены и гула,
как точно ты целишься в львиное сердце поэта!
За что, моя музыка, с кем ты меня обманула?
О, белого ветра ладони в прохладе рассвета!

КРОВЬ И БУРЯ

Я вены вскрыл себе, и к вящей славе
небесный гул по жилам полетел.
На море, на Балканах и на Саве
нажрался ворон мяса мёртвых тел.

И смутный страх удушливой петлёю
больней верёвки сжал гортань мою.
И кровь моя дымилась над землёю
Хорватии — в возлюбленном краю.

Я вены вскрыл в воинствующем слове
и семенем взметнулся через край.
Взывай же, буря, над разгулом крови,
над пеной Адриатики рыдай!

Ружица Циндори

(1961)

САД

Будь терпеливой.
Вне нас
ничего не существует.
Отшлифованного камешка
вполне достаточно для радости.
И хватит наживать
всё большую мудрость.
Когда с годами твоё лицо
украшается морщинами,
всё прекрасней становится тот сад,
из которого предстоит уйти.
Высоко вдали
каждое лето снова
будут расцветать
твои руки.

КАРДИОГРАММА ТИГРА

В непроглядной чаще
даже тигр
ощущает страх перед ночью,

пусть даже его глаза
светятся в темноте.
Экстрасистолия
предупреждает его:
никогда больше
не быть ему ни звездой,
ни ветром,
поющим среди трав.
Одряхлев и смирившись,
сцепит в замок челюсти.
Станет похожим на песок.

СТАРОСТЬ

Так незаметно
к нам подкралась старость.
Бросились к ней
безрассудно,
одолевая годы,
словно магистрали.
Где-то по пути
растеряли своё лицо.
И хотя восклицаем до сих пор:
«Мы — молоды!»,
никак не можем узнать
с утра тех особ,
которые в упор смотрят на нас
из зеркала.

ВЫСТАВКА

Принеси мне
только своё молчание.
Хочу увидеть,
насколько ты взволнован.
Всё ещё прячешь детство
по карманам
и книги поглощаешь жадно,
словно яблоки.
Мир себе создал,
чтобы спрятать в нём сердце.
«Пуškai теперь ищет» —
сказал бы,
если бы отважился
подать голос.

С черногорского

Душан Костиц

(1917—1997)

ЗАВЕТНАЯ КНИГА

С душою, полной странствий и созвездий,
уйду я — всё равно, куда, когда.
Жизнь — это книга славы и бесчестий,
надежд, преодоления и труда.

Её читаю редко, лишь в минуту,
когда нисходит полночь с Чёрных гор,
когда, одолевая в сердце смуту,
вступаю сам с собою в разговор.

А над золою будущее зреет,
и в нём, с всей своей мечтою, я.
И вижу — даль озёрная синее,
и пью из драгоценного ручья.

Пусть звонницы, работницы столетий,
осели и лишайником взялись.
Но поезда восторженно, как дети,
кричат из дальней дали: «Здравствуй, жизнь!»

И книгу я ношу в себе живую,
заветную — о том, что не уйду,
останусь в чувстве, в слове, в поцелуе,
останусь здесь, где жил и знал не все —
отчизны, скал и неба высоту.

С чешского

Витезслав Незвал

(1900—1958)

ИГРА В КОСТИ

В казино, где на ткани зелёной
продолжаю я игры с судьбой,
мне Химера с улыбкой кривой,
снова хвалится картой краплёной.

Так целуй всё пьянее меня
сквозь цветные фантомы гашиша!
Я, свой «Вальтер» на флейту сменивший,
на вороньей готической крыше
поддаю каждой ноте огня.

Бой часов — выстрел громкий и меткий.
С нежной кожицы марионетки
ткань прозрачная соскользнёт.
Ночь не даст на письмо ответа,
глаз поранится рисккой света.
А Химера, с ухмылкой, ждёт.

НОСОВОЙ ПЛАТОК

Я еду прочь. Тебя сквозь слёзы вижу.
И вот уже платок кладу в карман.
Весь этот мир, цветной плакат бесстыжий,
сорву, сомну и брошу в океан.

И в реку слёз нырну, в смятение духа,
и в сотый раз ландшафт переломлю.
Прости мне, певчий дрозд, провалы слуха —
то хрипну, то заикою скриплю.

Платок трепещет. Городские норы
гротеском ночи втянуты в туннель.
Увы, но смерть — не лабиринт, который
под утро приведёт в чужой отель.

И ты, любовью мечен, как дель Сарто,
прекрасной даме возврати платок.
А смерть — кульбит, лишь краткий миг азарта.
Взлетай же, острокрылый ястребок!

Ярослав Сейферт

(1901—1986)

МАЙ

Дозорная башня без усталости дарит кому-то
белейшее облако и ясно-синий Синай.

И всё, как обычно, — воздушен, и нетто, и брутто,
поэт осеняет стихами свой месяц, свой май.

И он же вздымается в бронзе над Площадью Рынка,
и пара влюблённых глядит, с любопытством в глазах,
как в бронзовый лист он врезает пером, словно финкой,
надзвёздные притчи и сведенья о чудесах,

стихи гравировать о доле людской и печали,
о том, что минуют напраслины всех перемен.
А может, о лучшем — о женственном грезит начале,
о благоухании роз, преклоненье колен.

То Дворжак вструбит, то охотничий рог над горою,
жар-цвет одуванчиков в Пражский вливается Град.
И девушка прячет лицо на плече у героя,
где верность упора знавал и ружейный приклад.

И вправду, Маэстро, призыв Ваш — прекрасен и вечен.
Воскликнете «Май!» — и пронзает до дрожи приказ.
Вот время любви наступает, магический вечер,
и нежной присяге никто не изменит из нас!

ЛАМПОЧКА

Вокруг застеклённого огня
клубится
рой мерцающих крылышек.
И Томас Алва Эдисон,
отрывая взгляд от книги,
молча усмехается.
Боже!
Мистер Эдисон —
Вы спаситель мотыльков!

* * *

Грудь твоя — словно яблоко
из Австралии.
Нет, две груди твоих —
словно два яблока
из Австралии.
О, как любы мне эти подсчёты!

ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ «ДВАНАДЕСЯТЬ»

«Дванадесять» — книга поэтических переводов с двенадцати славянских языков на русский. Стихи сорока шести поэтов из двенадцати славянских стран я переводил более года, обращаясь к этой работе едва ли не каждый Божий день и несомненно ощущая в себе при этом некую внутреннюю потребность уже постоянной, вдумчивой и истовой, беседы со своими собратьями-поэтами. Пусть даже, зачастую, эти беседы проходили, в силу реального положения вещей, на немалом временном и пространственном отдалении.

Современное сообщество славянских культур охватывает сегодня более трёхсот миллионов людей, наследников уже более чем тысячелетнего общеславянского духовного взаимодействия. Взаимодействуют и взаимообогащаются люди, идеи, языки, произведения литературы и культуры в целом. Об этом длящемся и имеющем глубинные корни человеческом и творческом взаимном притяжении мне хотелось напомнить ещё раз нынешней своей книгой переводов с символическим, на мой взгляд, названием «Дванадесять».

Пожалуй, сейчас, когда я пишу эту вводную статью к уже завершённой книге, у меня есть ощущение, что те двести с небольшим переводов из «Дванадесять», в которые я стремился вложить и свою душу, и свой более чем полувековой опыт писательства и стихотворчества, могут влиться теперь с неподдельным сыновним чувством, с чувством благодарного и благодатного притяжения, в значительную и дорогую для меня общность славянских культур. В нечто большое и значительное, что может быть названо духовным лоном. В нечто не только метафизическое, условное, историческое, но живое и плодоносное, дарящее дополнительные надежды.

В первом разделе «С печалью радость обнялась...» я помещил переводы из двадцати двух украинских поэтов двадца-

того века. Некоторые из них продолжают свою поэтическую работу и сегодня, после смены столетия и миллениума. Но биографии большинства из выбранных мной для этой книги поэтов отражают драматическую, и часто полную жестокого трагизма, историю Украины минувшего века. Достаточно привести лишь несколько цитат, не оставляющих места равнодушию:

Он разрывал быков руками,
Проглатывал овец стада,
Младенцев пожирал с костями
Живьём — без страха и стыда.

Всё съел. А тех, кто попытались
Бежать, догнал в горах, в лесах,
И всех, кто в муках мук распялись,
Сожрал, голодный, на крестах... —

это строки из Олександра Олеся о Голодоморе 1932—1933-го годов на Украине.

А вот строчки из стихотворения Василя Симоненко о третьем по счёту украинском голоде проклятого минувшего века, о голоде 1947-го года (к слову, того самого года, в котором довелось появиться на свет и мне самому):

И люди, так же мертвенно, как птицы,
шли с дедовскими косами на лан.
И опускали сокрушённо лица,
чтоб, зубы стиснув, «обеспечить план».

И плакали вдовицы, дети «хлеба!»
кричали над бурдой из желудей.
И, словно бы уже бесплотны, в небо
скелеты шли, герои трудодней...

Большая часть украинских поэтов начала XX века, наиболее талантливые представители плеяды «украинского возрождения» двадцатых годов, были уничтожены людоедским режимом большевиков в тридцатые годы. Так же, как были

целенаправленно уничтожены и многие другие выдающиеся личности из круга национальной интеллигенции. Из представленных в этой книге украинских поэтов в долгий список имён «расстрелянного возрождения» вписаны зловещим безвременьем: Микола Зеров, Евген Плужник, Михайло Драй-Хмара, Павло Филипович, Михайль Семенко, Владимир Свидзинский. Вынуждены были долгие годы оставаться в эмиграции и окончить жизнь на чужбине Олександр Олесь и Евген Маланюк.

Прошли долгие испытания адом большевистских лагерей Василь Мысык и Василь Боровой. О своём аресте, ещё в юношеском возрасте, о смертном приговоре, заменённом рабством ледяной каторги, вспоминает живой, слава Богу, и ныне, сегодня почти уже 91-летний поэт-тираноборец Василь Боровой:

Судилище в подвале. Полутьма.
В крестах решёток, ёжится тюрьма.
Судья Рогожкин, жилистый, горбатый,
пилой скрежещет, ржавой и щербатой,
скрипя-читая. А ведь надо, чтоб
гром-приговор взрывал темницы гроб.

Но вот скрипит горбун: «За оскорбленье
Отца народов, за стихотворенья
о том, что Вождь — московский Чингизхан,
расстрельный приговор злодею дан
Украинским военным трибуналом».
Прочёл — и хищным высверкнул оскалом...

Но воистину «С печалью радость обнялась...» в менталитете украинских поэтов, в звучании их слова. И конечно, кроме протестной, правдоборческой линии украинской лирики, благодарно прослеженной мной в этой книге, я стремился всякий раз подчеркнуть и иное — жизнестойкость и жизнелюбие этой поэзии. Стремился передать и в выборе стихотворений, и в переводах, как выразительно звучит стихия гармоническая, щедро образная, живописная и музыкальная, исконно свойственная самому украинскому народному характеру:

Дымится черемшина, словно свечка
у набожного вечера в руке.
И лемки, возвращаясь, на крылечко
спешат к своей задумчивой реке.

Страна души, весенних взгорий слово, —
мне не забыть черёмух нипочём,
когда плывёт над нами месяц новый
овсяным калачом! —

Так поёт о своих неповторимых карпатских краях молодой Богдан-Игорь Антоныч, словно переполненный драгоценными полнозвучьями песен от самого своего рождения, поёт молодой и ушедший из жизни непростительно молодым, двадцатисемилетним.

И переводя с украинского, родного мне языка, на котором у меня выходили и публикации, и книги стихов, я словно делюсь здесь с более широким кругом читателей талантом «своих» поэтов, кровно мне близких и понятных — до каждого отдельного звука, до каждого ритмического поворота. И с гордостью осознаю при этом, что есть, чем поделиться. Изысканно тонкий лиризм Владимира Свидзинского и юный, полный влюблённости в мир, романтизм Михайля Семенко — певца тихоокеанской Горы Жёлтых лилий и далёкой антиподной Патагонии.

Классически ясное, полное эллинистических аллюзий слово Миколы Зерова и невероятная творческая энергетика Евгена Маланюка, его пульсирующая едва ли не в каждой строке харизматичность. Чарующая напевность лирики Богдана-Игоря Антоныча, воистину соловьиная песня, оборванная смертью так рано. Неутомимые поиски новых форм и глубин стиха в верлибрах Владимира Затулывитера, с которым, как и ещё с целым рядом авторов этой книги, мне приходилось общаться, начиная с восьмидесятых годов минувшего века.

Нет уже, — и нет, увы, целых четверть века, — моего доброго друга и сверстника, степняка, а затем киевлянина, Василя Моруги, нет и моих киевских собеседников Игоря Рымарука и Владимира Затулывитера. Реальный ход событий никогда не выстраивал режима благоприятствования для личностей

творческих, открытых, неординарных, выбивающихся из всеобщего ряда. Обстоятельства ухода из жизни каждого из этих трёх поэтов, наших современников, были драматичными. Но голос их поэзии жив, яростен и выразителен. И я воистину благодарен небу и земному стечению обстоятельств, которые позволили мне сегодня снова напомнить о продолжении их творческого присутствия в нашей жизни.

Второй раздел книги «Двадцать» включает переводы с белорусского, болгарского, боснийского, македонского, польского, сербского, словацкого, словенского, хорватского, черногорского, чешского языков. И назван этот раздел стихотворной строкой сербского поэта Владимира Ягличица: «И Бог сказал: «Живи, если жив...»

Думаю, что в этих словах звучит важное напоминание о том, что вся литература, все книги и стихи возникают преимущественно как ещё одна возможность для нас — вернуться, и в творчестве написания, и в творчестве прочтения, к самой жизни, к её неповторимым ощущениям и переживаниям. И хотя «в начале было Слово», но именно человеческая жизнь, постигаемая нами, — всеми рецепторами, всеми клетками нашего естества, — жизнь бесконечно красноречивая уже в самом своём пред-молчании, порождает мысли и слова на всех языках. Именно она рождает искусство и литературу во все времена, закольцовывая, но не замыкая, а ведя всё дальше и дальше витки бытийной спирали.

Творчество славянских поэтов этого второго раздела книги также, как и первого, представляет только что миновавший, но никак не оставляющий нас во множестве аспектов, двадцатый век. Год рождения самого старшего из представленных здесь поэтов, польского лирика Адама Асныка, 1838-ой, отделяет от даты рождения самой молодой в этой книге, болгарской поэтессы Лоры Динковой, ровно полтора столетия. Лора Динкова, кстати, стала одним из лауреатов впервые проведенного в 2013 году творческого конкурса для молодых поэтов разных стран «Международная Славянская Поэтическая премия».

А диапазон сущностный, открываемый творчеством этих поэтов, — и очерченный в этой книге, в переводах, в силу многих ограничений, конечно, лишь пунктирно и точно, —

представляется мне существенно большим, чем названный временной диапазон полутора веков.

В этих стихах оживают не только столетия истории родного, в каждом случае неповторимого, славянского края, но и тысячелетия всеобщего духовного и культурного контекста, всечеловеческого мироощущения и миропонимания. Об этом же, о всеобщем и по сути безграничном, контексте творчества, о природе и истоках поэзии, вдохновенно пишет, Владимир Ягличич:

Редко, с рассветом, такие стихи прилетают,
одновременно и мраморны, и невесомы,
те, что загадкою мучат и дух наполняют
разом — и смертною мукой, и счастья истомой,

разом — и твёрдою верой, и бунтом неверий,
некой единою вестью из ада и рая.
Словно из сканеров, компов продвинутых серий
и из там-тамов, и с луга стоцветного мая,

словно из русской зимы, из ведической притчи,
из Гильгамеша, из снов ясновидца Гомера,
ноты напева летят, человечьи и птичьи,
отзвуки гулких глубин неопознанной сферы.

Из жития возникают, из охры пещеры, —
то в них Колхида и Анды, а то Гималаи,-
цветом различны и формой, и точностью меры,
но бесконечны всегда, прозорливы без края.

Из сегидильи Иберии, из бугарштицы,
саги, чуляндры, из нежной печали Альгамбры
смысл прилетает, напев человека и птицы,
и затихает дыханием лавра и амбры.

Ни один из двух дюжин поэтов второго, интернационального, раздела этой книги не появился в перечне переведённых случайно. Для каждого отдельного выбора у меня были свои резоны и основания. И не останавливаясь в деталях на других

предысториях, должен сказать здесь непременно более подробно об авторе процитированных выше стихов, известном сербском поэте, прозаике и переводчике Владимире Ягличиче, который успел выпустить в свет уже не один десяток книг поэзии и прозы.

Поэт Бахыт Кенжеев, публикуя свои переводы стихотворений Владимира в журнале «Иностранная литература» в 2013-ом году, писал о нём коротко, но ёмко: «Я слышал о Владимире Ягличиче как об известном переводчике русской литературы. Познакомившись с его собственным творчеством, был поражен глубинною мощью этих стихов, их бескорыстием и самоотверженностью».

Именно неутомимость Владимира в его трудах переводчика поэзии и духовного спонсора культурных обменов несомненно дала исходный толчок моей работе над нынешней книгой переводов «Двана**а**десять». Дело в том, что в минувшем 2013-ом году Владимир Ягличич перевёл на сербский язык более полусотни моих стихотворений, которые и вышли в том же году отдельной книгой «Днесь»-«Данас» параллельно по-русски и по-сербски.

Вслед за этим появились и переводы двадцати пяти стихотворений Владимира, сделанные мною. И, безусловно, эта ответная работа была не только выражением признательности и благодарности Владимиру, но и выражением моего неподдельного интереса к его действительно высотному и размашистому поэтическому миропостижению.

Эти двадцать пять переводов с сербского, помещённые здесь, и несколько моих давних переводов с украинского, опубликованные мной ещё в восьмидесятых годах, и послужили начальным капиталом в трудах над нынешней книгой. Ещё раз хочу произнести здесь слова признательности сербскому поэту за его энергетическое и творческое спонсорство — именно его «ау» в тот момент, когда мы ещё и не были вовсе знакомы, именно его письмо-сюрприз в новогоднюю ночь 2013-го с первыми переводами — подтолкнули меня к интересной, и ставшей для меня очень важной, работе над нынешней книгой.

Радостно было узнавать в этих ежедневных и желанных трудах новые имена, новые поэтические голоса. Отрадно было ощущать звучание иных славянских языков как нечто

очень знакомое и родное, угадывать в лексических вариациях те или иные повороты прапамяти и праистории. Лексический, образный, смысловой, человеческий космосы изо дня в день расширялись и просвечивали, один сквозь другой, словно пульсирующие анаксимандровы сферы.

Снова и снова приходило ощущение того, что световое и силовое поле мировой культуры, по большому счёту, едино. Да и частные импульсы узнавания и угадывания своего родного в соседских языках не уставали радовать слух и глаз. То сербские «сунцокрети», то бишь наши соняшники-подсолнухи, явственно аukaлись кряжистостью, крепостью и даже креативом могучего солнцелюбивого цветка. То вдруг звучало давно забытое тобой, но живущее своей глубинной правотой, уже целое тысячелетие, единение болгарского «хора» с русским «людом, людьми».

Или вот ещё радость узнавания — когда в миниатюре «О гречкосее» Десанки Максимович, снова оживает пушкинская интонация, пришедшая из самой сердцевины народной мудрости, оживает речение «Сказки о попе и его работнике Балде»:

Гречкосей пусть работает на своего пана
два дня в неделю —
день косит с рассвета рано.
второй — пускай за лозой следит,
чтоб был виноградник ухожен, умыт,
ещё один день — ему велено строго
камни таскать на царскую дорогу;
день муку пусть мелет для монастыря,
назавтра же, не тратя времени зря,
новую крышу владычице ладит,
и яко отец его, дед и прадед,
ещё один день, как решено,
готовит под новый посев зерно.
А все прочие дни, оставшиеся у него,
пусть уж работает на себя самого.

И строки славянских поэтов, и самые их имена, — Каштелан и Костич, Незвал и Горов, Сейферт и Стафф, — не мог-

ли, конечно, не оживлять в моей памяти тех прежних живых встреч с их землями и городами, которые и сегодня стоят перед моими глазами — встреч с Чехией и Словакией, с Польшей и Белоруссией, со Словенией, Черногорией и Хорватией. Всё так же волнует воображение заново и неповторимая Прага, и дикие ущелья Монтенегро, всё так же зовёт к себе неодолимо солнечная, виноцветная Адриатика хорватов.

А вот и ещё нечто совершенно незабываемое — глубочайшая на всей Адриатике бухта черногорского Котора, изумрудное лезвие бездонного тектонического разлома:

Южная кромка славянства — за Ульцинем склоны.
Смыслы сгущаются, и откликается колер
то узнаваемо-памятно, то потаённо —
белая Будва, клинково-смарагдовый Котор...

И так хочется сегодня надеяться, что и Сербия с Болгарией, и Македония с Боснией-Герцоговиной ещё дождутся меня в гости! Даст Бог, дождутся и в этом непредсказуемом году. Если, конечно, не пойдут вразнос крошечные демоны войны. Войны, которая, по сути говоря, уже два месяца стоит у порога каждого дома здесь, на Украине, где перевожу я стихи с апостольской дюжины славянских языков на русский, где пишу по-русски и эти строки в конце далеко не мирного апреля.

Сказать ещё прямее, война эта уже два месяца, с начала аннексии Крыма, идёт — необъявленная, предательская, гибридная, ползучая, диверсионная. Но война вполне беспощадная. Продолжается нападение закусившей удила разъярённой империи на Украину, посмевавшую наконец открыто заявить: «Свобода или смерть!», отдавшую в жертву более сотни молодых жизней своих сыновей — ради лучшего будущего многострадального народа. Продолжается война Каина против Авеля. «Каин, Каин, где брат твой, Абель?»

Абель, говорящий сегодня в Украине-Перворуси и по-русски, и по-украински, и в равной мере, независимо от своего языкового предпочтения, любящий свою родную землю, так и останется при любом повороте событий на своей земле, со своей извечной работящостью и певучестью, среди своего

золота и лазури. А скоро ли будет он здесь счастлив, будет ли счастлив вообще?.. Промолчу сейчас — останусь с этим безответным вопросом, ставшим сегодня комком в горле не только у меня.

И ещё несколько завершающих слов об Апостольском числе, о «двана**д**есять», о дюжине. Двенадцать учеников было у Иисуса Христа. Ушёл из их числа Иуда, и место его было занято впоследствии Матфеем. Так что не всё сразу устоялось и в Апостольской дюжине. По-украински «выздороветь» звучит как «одужать». Всем сердцем желаю сегодня своей Родине полного выздоровления — вослед жестоким и жертвенным дням. Очень надеюсь, что и славянская дюжина языков, стран и народов, к которой я здесь, с благодарностью и братским чувством, попытался, хотя бы символически, прикоснуться, сможет выдюжить, одолеть в ближайшем будущем все вызовы исторических сломов и человеческих несовершенств.

Одужаем, выдюжим. Сохраним и Христа, и Апостольскую дюжину — в душе, в помыслах и поступках.

2014

Сергей Шелковый

СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Шелковский. «И слава, и воля...» 3

«ПЕЧАЛЬ УКУТАВ В ТЕНЬ ЗОЛОТУЮ...»

Переводы с украинского

Иван Франко

Из «Тюремных сонетов»

«Сижу в тюрьме, как в зарослях охотник...» 16

«Тюремный мрак, удушье и рыдания...» 17

«Россия, край терпенья и печали...» 17

Олександр Олесь

Голод 19

«С печалью радость обнялась...» 20

«Лебеди ль, гуси по небу плывут...» 20

«В Вас столько солнца золотого...» 21

Владимир Свидзинский

«Усталый, спелый, на холмы склонившись...» 22

«Где-то дождь идёт...» 22

«Холодная тишина. Месяц надломленный...» 23

«— Грустно, тоскливо. Во мне всё завяло,
как эта вот ветка...» 23

«Марийкою и Стефцею их звали...» 24

«Снилось мне...» 24

«Ударил дождь и покачул...» 25

«Мы уже почти дошли до дома...» 26

«Неодолимо нависла над мокрым окном...» 27

«Спало всё. И месяц-свет погас...» 28

«Лицо зеркала мертвеет в тени...» 28

«Быстрый день упал за гай далёкий...» 29

«Нет, солнце, больше не приходи...» 30

«Загудел трамвай — свернул направо...» 30

«Уже так тихо во дворе...» 31

«Костляво гремят трамваи...» 32

«Спи. Засни...» 32

«Темно в моём жилище, как в колодце...»	33
«Когда мы вышли...»	34
«Зимой, на рассвете...»	34
«Из-за жёлтого клёна...»	35
«Кто там бродил всю ночь двором, у сада...»	36
«Пришёл в сад, где был мальчиком...»	36
«Ты хотела посмотреть на зарю...»	37
«Выплывает на море лодка...»	38
«Как хочется уйти мне от себя...»	39
* * *	
1. «Размеренно тяжко ступали кони...»	40
2. «Когда ты была со мною, лада моя...»	40
Угольщик	41
«Средь проулков-сплетений...»	42
«Как тихо тут: земля и небо!...»	43
«Так я меж вами живу, одинок в своих тайных раздумьях...»	44
«Высохли рассвета росы...»	44
«Давно, давно тебя я жду...»	44
Тёмная	45
«Настанет день мой печальный...»	46
«Мы в ночь вошли. Заря не светит нам...»	46
«Уже ни словом, ни песней, ни блеском глаз не увлеку...»	47
Огонь	47
«Овевал долину вечер чёрный...»	48
«Наберу я цветов в залесье...»	48
«Как белый призрак, взлетели горы...»	49
Поезд	49
«Умрут и небо, и земля...»	50
«Как плещет твой плащ химерный...»	51
«Тени протяжно легли, но вверх, на ветвях, — ещё солнце...»	52
Михайло Драй-Хмара	
«Я полюбил тебя той пятой...»	53
«Я мир вбираю страстью ока...»	54
«На серой стенке спичкою сожжённой...»	54
Микола Зеров	
Чистый четверг	56
Великая пятница	57
Саломея	57
Вергилий	58

Партенит	59
Скорпион	59
Яков Савченко	
«В полночь он прилетит на храпящем коне...»	61
Солнце под головы	61
Юрий Клён	
Кортес	
1. «В край сказочный, под пальмы и агавы...»	63
2. «Наверное, и в давних детских снах...»	64
Павло Тычина	
«Не верьте, люди снегу...»	65
«Не Зевс, не Пан, не Голубь-Дух...»	66
«И Белый, и Блок, и Есенин, и Клюев...»	66
Павло Филипович	
«Минула ночь тревожно и бесславно...»	68
«Долу склоняется гневно...»	68
Михайль Семенко	
Заплету косу покрепче	70
Гора Жёлтых Лилий	70
Огоньки по всей бухте	71
Патагония	71
Тёрен	72
Стишок разочарования	73
По дороге раздоров	73
Реплика	74
Городской сад	74
Туман выплывал	75
Майк Йогансен	
«Дни мои, дивные дети...»	76
Поэзия	76
Максим Рыльский	
Бодлер	78
Сонет скуки и желанья	78
«Запахла осень вялым табаком...»	79
Труд	80
«Распустились сады, отцвели...»	80
«Ласточки летают, им летается...»	81
Евген Маланюк	
* * *	
1. «Знаю — солнечным мёдом, Лада...»	82
2. «Навеки разорвали руки...»	83

3. «Хотя б на миг один, священный...»	83
Варяжская весна	
1. «Обычный день Так что ж во мне отрада...»	84
2. «Она — скандинавка. В походе — дыханье фиорда...»	84
Из «Чёрной Эллады»	
1. «Руина. И фатум чумы и холеры...»	85
2. «Шли в распутицу, мимо погоста...»	85
Сонет гнева и позора	86
«Ave Caesar, август певучий...»	87
Зима	87
Из вагона	88
Эхо	88
Города минувших дней	
5. «Посмертный день среди руин змеится...»	89
Отечество	90
Памяти Йоланы Кардош	90
Посвящение	91
Горькая весна	
1. «Так зреет тягостно весна...»	91
2. «Здесь не встретишь руин. Здешним склонам и долам...»	92
3. «День потемнел. И радость исчезает...»	92
«Уже кленовой кровью раны...»	93
«Не нужно мудрости — она тиранит синь...»	93
«Уже почти привык, что мне досталась...»	93
Памяти Т. Осьмачки	94
«Бледнеет Апокалипсиса зверь...»	95
N.N.	95
Ars Poetica	
3. «Вечно сжатый в пружину и хмурый...»	96
5. «Эллады сыны и сыны Иудеи...»	96
Думы	97
«Рассвет высок. Ещё земля прохладна...»	97
«Октябрь желтеет. Солнце сонным ходом...»	98
Евген Плужник	
«Я — как и все. И штаны — полотно...»	99
«Над морем на скале, на нерушимых кручах...»	99
«Гляди — внизу и море, и сады...»	100
«Молчи! Молчи! Я знаю, за словами...»	101
«Вошла, сияя, в море. Кто она...»	101

Владимир Сосюра

«Ты, будто бы магнит, ты притяжение света...»	103
Трое	103
«Так тихо вверху надо мною...»	104
«Растаяли в бездне, в пучине...»	105

Марко Вороний

Слово	106
Видение	107

Олена Телига

Современникам	108
«Вновь глаза мои в тьму раскрыты...»	109
«Моя душа и в хмеле тёмном	109

Василь Мысык

Рудаки	110
Хафиз	111
Рим	111
Спарта	112
Китс	112
Осень	113

Олег Ольжич

«Глухо рухнули храмы, осыпался щебень палат...»	114
«Синеет очей ключевая вода...»	114
Овцы	115
Полесье	
1. «Душно под вечер. Прокурены тесные стены...»	115
2. «На холмах осиянных сон-зелье уже голубеет...»	116

Олекса Блызко

Девятая симфония	117
Порт	118
Рейс	119
Матросы	120
«Отлетела...»	121

Иван Вырган

«Ранним утром выйду я к кринице...»	122
«И что за чудо с нашею вербою?...»	123
Дочерям	123

Богдан-Игорь Антоныч

Крыши	124
Подковы	124
Черёмуха	125
Отрывок	125

Алхимик	125
Миф	126
Игорь Муратов	
«Не сердись, не гляди удивлённо...»	127
Оборотень	127
«Лопухи расцветают. Не верится?...»	128
Игорь Качуровский	
Поэт	129
Цветной паук	129
В Колизее	130
«О Понто Веккьо, что на Арно-речке...»	131
Сонет	131
Памяти Михайла Берлова	132
«Яснозелёных крон переплетенья...»	133
Яр Славутич	
Херсонес	134
Наследникам польских офицеров	135
«Отряды крыс в Андроповском астрале...»	135
«Когда Каган, напутствуемый Кобой...»	136
«Тьму мавзолея семь десятков лет...»	137
Василь Боровой	
Судилище	138
Мир в слезе	139
«Не рыдай мене, Мати...»	140
Вспомнилось	140
Доля	141
«Жаринка, искра зверобоя...»	141
Дмитро Павлычко	
Рубаи	
«С рук матери мы сходим и идём...»	143
«Смерть очищает землю и она ж...»	143
«Гвоздь вытянуть труднее, чем забить...»	143
«Я птицей был, но меня мир схватил...»	144
«О смерти вспоминай, пока здоров...»	144
«Чтоб яблоня твоя родючею была...»	144
«Чем больший эгоист и фарисей...»	144
«Не знаю когда я жил...»	145
Лина Костенко	
«Ты смотришь вслед. А я уже — на трапе...»	146
«Снега в снегах. Над речкой — льды литые...»	146
«Там есть, вдали, гора, где молчаливы птицы...»	147

«Не спорь, пустым словам не прекословь...»	147
«Не этим Днепром ли челны византийские плыли?...»	147
Василь Симоненко	
47-й год	149
Поэт	150
Можно	150
Я	151
Владимир Базилевский	
«Лиру разбил Орфей...»	152
«Мало в мире копачей криниц...»	152
Петро Осадчук	
«Те ясени, что мой отец сажал...»	154
«И гаснет тело. Тает, как свеча...»	155
«Снова день минувший подытожу...»	155
Павло Мовчан	
«Блажен, кто вдалеке от суетных забот...»	157
«Берёз малиновый обрез...»	158
«Сквозь лёд проходя и зрачком прозревая кристаллы...»	158
Владимир Затувывитер	
Теория крыла	159
Сосед по санаторию	160
Невесомость	160
Друзьям, молча	160
Алхимия инея	161
Памяти Ояра Вацетиса	161
«Во всём — земля. И в брызгах чёрной грязи...»	162
«Заточил карандаш...»	162
«Шёлковая ласточка любви...»	163
Счёт минут	
I. «Накатит волна ночная...»	164
II. «Течёт и течёт во мне мать, как река...»	164
III. «О чём им сегодня думается...»	165
«Литовка Рута...»	165
«До песчинки знаю...»	166
«Слова...»	166
«Я не печалюсь...»	167
«Отмолчу...»	167
Василь Голобородько	
Наша речь	168
Ивану	168
Давней собеседнице	169

Виктор Бойко

- Из мгновений 170
«Порой хватает крохотки тепла...» 170
«Грохочут тягачи (в армейском цвете хаки)...» 171

Василь Моруга

- Автопортрет сквозь века 172
«Был глупым рыжий ласковый щенок...» 173
«Над сумерками властвовал минор...» 173
Каунасские колокола 174
Благодарность 175

Владимир Стальный

- «А я, признаться, тем уже утешен...» 177
«Над островом ещё парит жар-птица...» 177
«Печалилось. Темнел, стужался вечер...» 178

Любовь Голота

- «Виденье детства: лето, вечереет...» 179
«Кто я?...» 180

Анатолий Перерва

- Сергей Васильковский 181
Добро 182

Геннадий Литневский

- «Когда, на людях, ты проходишь мимо...» 183
Осень 183
«И когда мои грусти-печали...» 184

Игорь Рымарук

- Грешник 185
Вариант 185
«Зачем твой шёпот: не забуду...» 186
Рождество 186

Ирина Мироненко

- «Двадцать лет миновало...» 188
«Ближайшей ночью Украину накроет холода волна...» 188

Иван Малкович

- Ключ 189
Страна солнца 189
Сон со свадебным хлебом 190

«И НЕЖНОЙ ПРИСЯГЕ НИКТО НЕ ИЗМЕНИТ ИЗ НАС...»

*Переводы с белорусского, болгарского,
боснийского, македонского, польского,
сербского, словацкого, словенского, хорватского,
черногорского, чешского*

С белорусского

Рыгор Бородулин

- «Больше мыслей — тревожнее сутки...» 192
«Идущие на смерть — да будут жить!..» 193

Марьян Дукса

- «Едва концы с концами сводит лето...» 194
Поздний шиповник. 194

Аксана Спрынчан

- «Создана...» 196
«Черчу.» 196
«Выбираю бульбу...» 197

С болгарского

Николай Лилиев

- «Дождь, весенний каплепад...» 198
«Луч рассвета, перезвоны...» 199

Борислав Геронтиев

- Запев 200
Молитва 200

Георгий Белев

- Лувр 202
Сын 203

Красимир Георгиев

- Война 204
Из поэмы «Последний болгарин» 205
По ту сторону реки 205
Женщина без тени 206
Игра 206
Странствия 207
Фреска 207
Удары сердца 208
Единогор 208

Елка Няголова

- Подсолнух 209
Первый снег над Варной 209

Лора Динкова

Путь.....	211
Успокоение	212

С боснийского**Мак Диздар**

«Сожму узду коня — под самую улыбкой...»	213
Гармонь.....	214

С македонского**Ацо Шопов**

Прочтение пепла	215
Доброй ночи	216
Любовь	216
В тишине	216

С польского**Адам Аснык**

«Люблю тебя! О, это слово...»	217
-------------------------------------	-----

Ян Каспрович

«И влюбилась душа моя снова...».....	219
--------------------------------------	-----

Леопольд Стафф

Надежда	220
---------------	-----

Юлиан Тувим

Счастье	221
---------------	-----

Вислава Шимборская

В аэропорту.....	222
Ладонь	222
К собственному стихотворению	223
Принуждение	223

Казимеж Бурнат

Рефлексия	225
Перелицовка веры	225
«Достались мне ключи...».....	226
«Неустанно...»	226

Адам Загаевский

Блейк.....	227
Эмигранты.....	228
Философы	228
Поражение.....	229

Изабелла Филипяк

Баллада о созревании.....	230
Обращаясь ко мне шёпотом	231

С сербского

Десанка Максимович

Бранковина	232
Голоса ночи	233
О гречкосее	233
Белый цвет	234
Разлука	235

Момчило Джеркович

Голос	236
Прометей	236
Взошло в лазури	237

Владимир Ягличич

«В воздухе родины, отчего края...»	238
«О Боге ничего не знаю...»	239
Горизонт	240
«В тряпках особенных брендов...»	240
Элегия	241
Память о восстании	244
Озеро	245
Он	245
Хозяин	247
Тесла	248
Капуста	248
Стихотворения	249
В горах	
10. «Как лёгок голос твой, осенняя цикада!..»	250
24. «Всё может быть поживою для глаза...»	251
Дары	252
Таз	253
Слабость	254
Бог сказал	255
Милость	256
Обоснование отсутствия	257
Разговор	258
Могила Волошина	259
Солнечное утро	259
Сад	260
Студенты	261
Дом Ильича	262
Межа	264

Бассейн	265	
«Тёмным утром, когда наплывает замедленный дождь...»	266	
Со словацкого		
Андрей Плавка		
Слышанье	267	
Отлёт ласточек	267	
Павол Горов (Горовчак)		
Взгляд с высоты	269	
Осень в городе	269	
Со словенского		
Лайзе Кракар		
Украденное сердце	271	
Злодей на пенсии	271	
С хорватского		
Юре Каистелан		
Уснувшая гитара	273	
Кровь и буря	274	
Ружица Циндори		
Сад	275	
Кардиограмма тигра	275	
Старость	276	
Выставка	277	
С черногорского		
Душан Костич		
Заветная книга	278	
С чешского		
Витезслав Незвал		
Игра в кости	280	
Носовой платок	281	
Ярослав Сейферт		
Май	282	
Лампочка	283	
«Грудь твоя — словно яблоко...»	283	
Сергей Шелковский. Предисловие к сборнику «Дванадесать»		284

Литературно-художественное издание

ШЕЛКОВЫЙ
Сергей Константинович

АПОСТОЛЬСКОЕ ЧИСЛО

Поэтические переводы

В авторской редакции

E-mail:
seshel@mail.ru

Авторский сайт:
www.seshel.ucoz.ru

Другие ресурсы:
www.poezia.ru
www.proza.ru
www.stihi.ru
www.rifma.ru

Технический редактор: *Е. Онишко*
Компьютерный дизайн: *В. Носань*

Підписано до друку 18.08.15. Формат 60х84/16.
Папір офсетний. Гарнітура Minion Pro. Друк офсетний.
Ум. друк. арк. 19,13. Зам. № 15-62.

Видання і друк ТОВ «Майдан»
61002, Харків, вул. Чернишевська, 59.
Тел.: (057) 700-37-30
E-mail: maydan.stozhuk@gmail.com

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців і розповсюджувачів
видавничої продукції ДК № 1002 від 31.07.2002 р.